



СЕРБСКОЕ СЛОВО Натюрморт с часами

СЕРБСКОЕ
СЛОВО

Натюрморт

с часами

Ласло

Блашкович

Ласло
Блашкович

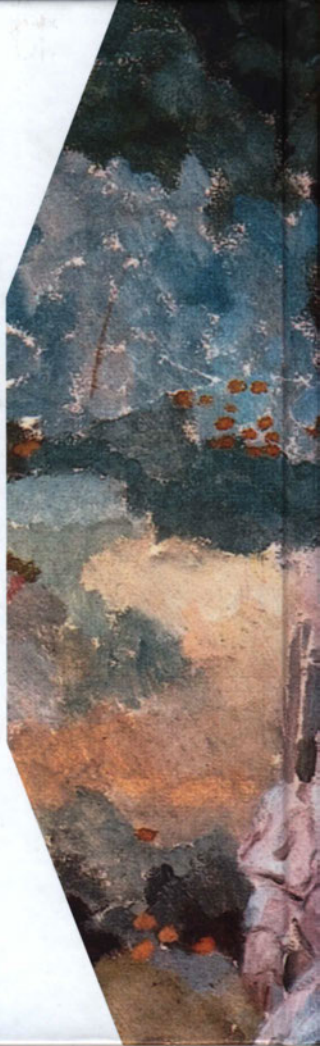
«Натюрморт с часами» Ласло Блашковича – это мастерски написанный роман о судьбе и творчестве художника Богдана Шупута (1914–1942), участника и свидетеля расцвета сербского модерна в изобразительном искусстве. Блестящая проза рассказывает о первой половине XX века и его 90-х годах, когда герой-рассказчик, начинающий писатель, отправляется на поиски картин и исследует жизнь Богдана Шупута сквозь призму судеб его моделей.

Гойко Божович
поэт, эссеист,
литературный критик,
издатель



Центр
книги
Рудомино

ISBN 978-5-91922-076-3



СЕРБСКОЕ СЛОВО





Ласло
Блашкович
Натюрморт
с часами

ПЕРЕВОД

ЕЛЕНА САГАЛОВИЧ

Москва
Центр
книги
Рудомино
2019

УДК 821.163.4-3

ББК 84(4)-44

Б68

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Перевод на русский язык осуществлен
при финансовой поддержке
Министерства культуры и информации
Республики Сербия

Издательство благодарит Вукосаву Джапа-Иветич
за помощь при подготовке перевода к печати

Автор послесловия поэт, литературный критик,
директор издательства «Архипелаг» (Белград) Гойко Божович

Ответственные редакторы серии
«СЕРБСКОЕ СЛОВО»
Е. В. Сагалович и Ю. Г. Фридштейн

Дизайн серии Т. Н. Костериной

В оформлении использован фрагмент картины
Богдана Шупута «Девочка в саду» (1939).

Блашкович, Ласло

Б68 Натюрморт с часами / Ласло Блашкович; [перевод с сербского
Елены Сагалович]. – М.: Центр книги Рудомино, 2019. – 288 с. –
(Сербское слово).

ISBN 978-5-91922-076-3

В романе «Натюрморт с часами» (2000) Ласло Блашкович (р. 1966),
уже знакомый читателю по роману «Ожерелье Мадонны» (М.,
Центр книги Рудомино, 2016), в свойственной ему поэтической
манере рассказывает о трагической судьбе выдающегося сербского
художника Богдана Шупута (1914–1942), преломленной в судьбе его
модели и бросившей отсвет на наших современников, о проблеме
выбора и ответственности за него.

© Laslo Blašković, 2000, 2019

© Marina Blašković, фото автора, 2019

© Gojko Božović, послесловие, 2019

© Е. Сагалович, перевод, 2019

© ООО «Центр книги Рудомино»,
издание на русском языке, оформление, 2019

© ООО «Инфинитив», 2019

Отцу

Девочка с собакой

Я вообще не слышал, что Девочка умерла. Может быть, беру грех на душу, но думаю, что так. Скажем, мне это кажется совершенно естественным. Городскую газету я покупаю по воскресеньям, и по привычке вожу пальцем по объявлениям, хотя мне давно ничего не нужно. Потом мельком просматриваю некрологи, иногда вижу знакомое лицо, я бы наверняка заметил ее крошечную фотографию. Кто-то скажет: она могла умереть во сне или в рабочий день, и тот, кто о чем-то догадывается, спросит, а есть ли вообще скорбящие? Вот у меня нет этому подтверждения, но я все же уверен. Говорю себе: все кончено, больше не о чем говорить.

Сворачиваю газету в трубочку и выхожу. Чувствую тупую боль в голове, как будто лопнула струна. Страдаю от перемены погоды.

Газетой, плотно свернутой в трубку, похожую на информационную полицейскую дубинку, стучу в дверь. Пауза длится слишком долго, и надо повернуться и уйти, если бы было куда. Потом все-таки что-то слышу, не громче мышинного шуришания. Я стою далеко, слабый свет до меня не доходит. В замке поворачивается ключ, словно кто-то потерявшийся возвращается, переводит стрелку часов назад.

Это вы давали объявление о комнате, спрашиваю я, сравнивая ее глаза, глубоко запавшие в выступающие веки, и темные подглазья, с кратерами погасших вулканов. Она надевает очки, и картина получает обрамление, смысл.

Нет, говорит она просто. Я опять раскрываю газету. Расточительно, вяло листы скользят на бетон. Я утомлен, лучше всего было бы остановиться. Женщина пристально смотрит на ворох разлетевшейся бумаги. Нет, — отвечает она, — но войдите, — и вдруг отворачивается. Слегка переминаюсь с ноги на ногу, топчу чье-то лицо, отсюда напоминающее пятно, мусор.

И иду в дом, за Девочкой.

* * *

Ах, с этими объявлениями всегда может случиться что-то неожиданное. Не говоря уже о женщине с объявлением «личного характера» на уме, которая, прежде чем продиктовать свой шифр, обнаружила, что служащий в окошке точно соответствует описанию разыскиваемого. Нет, нет, любовь — это всегда что-то подстроенное. Не говоря уже о том, кто, углубившись в газетный некролог, упал под колеса автомобиля, это было бы слишком, не правда ли? Но в коммуникации (в том числе и указанного типа) вы никогда не знаете, какого кролика извлечете из шляпы, и что завтра получите на обед. Случалось ли с вами так, чтобы внезапно, без причины, в голове промелькнуло чье-то имя, которое вы целую вечность не вспоминали, а именно этот человек в этот самый момент позвонил вам по телефону и спросил, как у вас дела? Нет? Но следует признать,

что такое вполне возможно, и такое с кем-то и где-то случалось.

Так или иначе, но если Девочка не давала объявления о сдаче комнаты, что-то подобное у нее в голове засело. Такой большой дом. Впрочем, в моде объявления о пожизненном содержании – после преодоления самаритянской каторги санитар по завещанию получает квартиру одинокого подопечного. Если смотреть на это так, то разумный человек может безучастно задаться вопросом, как так, что Девочка не дала свое объявление давно, но не вопросом, откуда взялся этот парень из темноты?! Посмотри, как она едва передвигает ноги в разношенных тапках, как кривит лицо, когда случайно узнает себя в зеркале, как огонек сигареты, зажатой в губах, угрожающе приближается к ней...

Сюда, – показывает Девочка усталым жестом хранителя сокровищ. Пованивает кошками, но ни одной не видно. Молодой человек морщится, возможно ли, что этот дом когда-то был похож на светлячка? Паркет скрипит, значит, по ночам мебель будет посвистывать, потрескивать, похрустывать, – заключает пришелец, заглядывает в комнату, мимо которой проходит. Низкий сервант набит книгами, большинство из которых заметно обтрепаны. Так, значит, говорит молодой человек про себя.

На большом письменном столе, повернутом от окна, можно, проходя мимо, в это скудное мгновение увидеть мельком крошечный череп, перед плетеной корзинкой. Для прочего не требуется особого воображения: пишущая машинка, которая перепрыгивает через букву *ж* (похожую на черный собор), ламповый

радиоприемник, на затененном ветровом стекле которого золотые названия городов, далеких, как Луна или глухота, островки чистой и исписанной бумаги, с ослиными ушами, пепельница – морская раковина, полная раздавленных окурков, шариковые ручки, пачкающие, и карандаши с давно сломанными грифелями, энциклопедия Майерса, с экслибрисом в форме неизвестного насекомого, пустые бланки рецептов, засаленные карты, которыми всегда раскладывается пасьянс, фотография двух молодых людей, примерно тридцатых годов, в деревянной рамке, простой, как крест на могиле... Со стены блеснуло человекоподобное зеркало, годами уходящее в себя, если мы скажем – трещина или паутина, это покажется нервозностью, бестактностью, мелочностью, но, и это очевидно, – нигде нет ожидаемых картин.

(Естественно, для них еще слишком рано. Если бы все пошло гладко, то и рассказ не нужен).

* * *

Подождите, говорит Девочка, и теперь молодой человек замечает то, что у нее на голове в первый момент показалось ему гнездом из виноградной лозы или какой-то створожившейся маской для наведения красоты или краской для волос, на самом деле всего лишь бесформенный французский берет, который много времени провел на улице.

Сразу видно, что он приличный, – оценивает Девочка, пытаясь скрыть совершенно нормальное любопытство, что это с ним вдруг? Она знает, – догадывается пришелец, глядя в затылок, она знает.

Девочка останавливается перед крутой лестницей, чешет то место на шее, где ее укусила муха, если бы молодой человек зажмурился, то услышал бы, как блестящий ноготь скребет по тонкой бумаге. Женщина медленно поднимается: ставит левую ногу на ступеньку, потом приставляет к ней правую, которой после небольшой остановки делает шаг, чтобы к ней приблизить ту, вторую. Как в свадебном марше, рассмеялся бы молодой человек, будь у него лишнее время, ведь скоро она обернется и позовет его наверх.

Поэтому он быстро тянется к первой же дверной ручке, и вот ему на мгновение открывается спальня, с таким количеством слежавшейся пыли, что наш любопытствующий в тот же момент изумленно чихает. Между тем сверху слышен характерный звук, возникающий, когда двигают тяжелые вещи, и молодой человек, успокоившись, осматривается, стараясь задержать дыхание.

Тяжелая двуспальная кровать, «застегнутая на все пуговицы», в оковах бесчисленного количества простыней и покрывал, а на всем этом сидит, расставив ноги, большая кукла, с блудливыми стеклянными глазами. Жалюзи опущены, воздуха нет, могильные сумерки. У молодого человека слишком мало времени, чтобы заметить, как на комодке разрезают пасть богато украшенные часы, похожие на миниатюрного циклопа, как рядом с ними увядает шестипалый подсвечник, как там, в углу, большой мужской зонт – раскрыт. Молодой человек смотрит на голые стены, заглядывает за двери, он думает о намертво запертом на замок сундуке, похожем на музыкальную шкатулку для великанов. Обмерев от страха, он возвращает скрипучую ручку в исходное по-

ложение, с комической гримасой на лице, наводящей на мысль, что он только что обменялся рукопожатием с силачом.

Тут он замечает, чуть дальше, еще одну дверь. Сколько у него времени? Он зажмуривается в темноте, здесь лестничный марш заслоняет и ту малую толику дневного света, льющегося сквозь световой люк в крыше. Он начинает нащупывать наугад, влажными пальцами. Когда окончательно берется за ручку, слышен только ее щелчок. Лишенному возможности заглянуть в комнату кажется, что с той стороны дверь подпирает труп, брошенный у порога, у гостя так тяжело на душе, что это можно увидеть на рентгеновском снимке.

Где вы, – спрашивает Девочка и близоруко шурит-ся. Вот он я, здесь. И молодой человек в два прыжка нарисовался перед ней. Вот черт, – отпрянула Девочка, но только нельзя сказать, что ее это рассердило, у кого бы испортилось настроение при такой скорости, кто, положив руку на сердце, не желает себе быстрой кончины? Легко об этом говорить вот так, вчуже, но она давно купила себе участок на Новом кладбище, еще тогда, когда перестали хоронить на Алмашском¹, а там вся ее родня, хотя, конечно, можно было бы, вы же знаете, как это делается, подмазать, ну, и найдется местечко, а где мои связи, *correspondances*, сударь, там же, где и прошлогодний снег, где старые поклонники, эх, где им еще быть с их грошовыми пенсиями, – в жидкой грязи, если не в земле сырой, право, не стоит, и не пациент какой-нибудь, ну кто теперь помнит про детские бо-

1 Старейшее православное кладбище в г. Нови-Сад. – Здесь и далее примечания переводчика.

лезни, старые переломы, но попало мне объявление «продаю участок там-то и там-то», ага, сказала я себе, этот решил не умирать, – и они оба рассмеялись.

А что с тем объявлением, показывает собеседник свернутую газету.

Оставьте это, говорит старушка, успокаивающе прикрыв глаза, а чем вы занимаетесь?

Я пишу.

Что? – изумилась Девочка.

Разные вещи, – замялся он.

В газеты?

И в газеты, – говорит он примирительно, – вот, я думал дать объявление...

Объявление? Какое объявление? Не про встречу же с мужем?

О фрилансерских интеллектуальных услугах, сударыня. Например, кто-то хочет стихотворение для памятника или изысканное поздравление, есть богатые люди, хотят истории своих семей, вот это я могу сделать. Это мое ремесло.

А жизнеописания? Вы, значит, и такие вещи делаете?

Конечно, биография – благодарный жанр. Хотя, конечно, я еще не...

И сколько бы это стоило?

По-разному, – откашлялся молодой человек.

Не дороже жизни?

Нет, нет, – он делает вид, что не замечает иронии, – и жизнь умершего ребенка можно описать на пятистах страницах, как столетнего.

Так от чего зависит, – старая дева становилась нетерпеливой.

От договоренности.

Некоторые вещи стали подразумеваться.

Они сидели за круглым столом в уютной мансардной комнатке и переглядывались, а свет вливался сквозь косые окна. В центре – беленая печная труба, теряющаяся в черепице и всегда похожая на живот, теплый, когда положишь на него руку. С улицы было слышно голубей, надувающихся и ссорившихся над мусором у водосточной трубы. Снаружи была телевизионная антенна и прекрасный вид. На верхушке дымовой трубы – гнездо аиста. Внутри же – кровать с тюремными кружевами, старинный патефон, немного классических гипсовых фигур и ссохшийся мольберт. Наполовину комната – наполовину склад. Скромная, но с избытком деталей, можно сказать, просто каморка, в которой переночует покушающийся, или кто-то, кому все равно, если первое впечатление слишком сильно. На стене репродукции сезанновских «Картежников» ваноговских «Едоков картофеля» и «Нищего» Курбе.

Знаешь, что, – говорит женщина, – и молодой человек с легким отвращением замечает, что она перешла на *per tu*. – Мы вот как поступим. Ты здесь будешь квартировать бесплатно, если тебе подходит.

Но, – он смущенно отнекивался, – но...

Постой, – прерывает его Девочка, – я буду готовить на себя и на тебя, если ты захочешь это есть. Время от времени ты будешь покупать немного мяса, бутылку вина или горсть-другую семечек подсолнечника, я не возражаю, мы не будем из-за этого торговаться. И ты опишешь жизнь мою и моей семьи. Так, как я тебе буду рассказывать, и как ты сам сочтешь нужным. Когда

у тебя не будет другой работы, когда тебе захочется. Договорились?

Нет, – решительно отвечает молодой человек.

В чем дело? Тебе не нравится мой нос? – спрашивает Девочка, подносит к носу пальцы, вдыхает их запах.

Нет... Я работаю только с покойниками.

А теперь ты поработаешь с вполне бодрой покойницей, – рассмеялась Девочка. – Ну, только если тебя оплата не устраивает.

Да нет, нормально...

Ну, и?

Речь об украшении, как, например, сувенир в бутылке, альбом воспоминаний с фабулой. Воспоминания прекрасны, жизнь грязна. Понимаете?

Неужели ты думаешь, что я буду плевать на собственную могилу?

Не думаю, но я работаю, как фотограф в старину, модель просовывает голову в дырку на картоне, все остальное нарисовано – пляж, Париж, военное училище, любая выбранная нами жизнь.

Мне не нужна наемная плакальщица или слащавый некролог. Я тебе покажу, расскажу – ты скомпонуй, придай форму, запакуй.

Сколько бы вы экземпляров напечатали, – он прикидывал, подсчитывал, – для родственников и друзей? Например, пятьдесят, с золотым тиснением? Сто экземпляров в твердой обложке?

Будет достаточно одного.

Не понимаю, – молодой человек поднимает голову от газеты, на полях которой он что-то черкал.

У меня никого не осталось, сынок. Это для меня и для Бога...

Что? Рассказывать? Так сразу?

Женщина вытирает ладони о платье.

Я сейчас не могу, – задохнувшись. У нее сжимается горло от внезапного волнения, во рту пересыхает и, что там еще бывает. Она быстро поднимается, как-то молодо, выходит из комнаты, оставляя гостя сидеть за столом, но вдруг оборачивается, возвращается, протягивает ему руку, они пожимают друг другу руки, договор заключен.

Позже, – говорит Девочка, кивая головой. – Мне надо сосредоточиться.

Взгляд молодого человека скользит по психологическому тесту в раскрытой перед ним газете. «Если бы Вы могли выбирать судьбу, кем бы Вы стали: а) полководцем; б) любовником; в) художником; г) мудрецом».

Машинально обводит кружком буквы б.

Двор

Я настолько утомлен, что способен только к простым предложениям, – было написано на лбу квартиранта. Он качался на стуле, чувствуя, что сердце бьется все медленнее. Какой-то тяжелый холод шел со спины, из окошка на крыше, которое, похоже, до конца не закрывалось. Он запрокинул голову, как на шарнире, чтобы посмотреть. Кровь прилила к голове.

Эту игру он любил, сколько себя помнит, особенно на улице, на каком-нибудь заборе или на пустой стойке для выбивания ковров, ребенку казалось, если не держаться, то можно упасть в небо, мягкое небо. Так он раскачивался, повиснув, как летучая мышь, опустив болтающиеся вялые руки. В этом опрокинутом мире

его особенно завораживала та единственная, пустая глазница на лбах прохожих. Он грезил, повешенный, до тех пор, пока его совсем не придавливали собственные парящие внутренности.

И сейчас он вознамерился слегка потеряться в похожем инфантильном опьянении, в сладком вертиго, он уже почти слышал собственную кровь, когда краешком полусонного глаза увидел, как в зазор между окном и рамой пытается проникнуть дикий голубь. Квртиант быстро вернул стул в нормальное положение, вскочил, зашатался, потому что от быстрой смены позы у него закружилась голова так, что ему пришлось согнуться, схватиться за край чего-то, застыть так на несколько мгновений, а потом он осторожно выпрямился, потирая виски. Но голубь испугался звука, который издал стул, и только одно белое перышко парило в угасающем свете. Квртиант протянул руки, чтобы его поймать, но с этим пришлось помучиться, потому что перышко ускользало при каждом взмахе, как летающая рыбка. И только когда он протянул ладонь жестом нищего, оно просто упало, где-то между линиями. Он скрутил его пальцами и взял в рот (грызть разные травинки, ниточки, соломинки и все, что попало, было его тиком, привычкой).

Солнце уже зашло, но горизонт еще пламенел, пронизанный птичьими тенями. Он мог видеть промзону, полагая, что распознает геометрические формы нефтеперерабатывающего завода, со стороны цыганского поселка за каналом, из заводской трубы вырывалось пламя, похожее на нарисованный выстрел, там же была и железнодорожная ветка (из-за близости которой дом, особенно

по ночам, вздрагивал), устремленная к бетонному мосту. К Дунаю, полному золота и рыбы, разжиревшей на городских отбросах, к прибрежной растительности на противоположном берегу, похожей на шербатый рот, что ему иногда снилось, к разрытому Офицерскому пляжу, но это уже было далеко или низко, и наблюдателю могло привидеться только в инерции сменяющих друг друга картин. Но точно известно, что можно было рассмотреть: большую парковку для тяжелых фур, возвышавшиеся крыши (некоторые из них были еще камышовые), Алмашскую церковь, здешнее небо.

Новый жилец ни на что не смотрел, предметы проплывали мимо, он стоял, нечувствительный к далеким звукам пароходных гудков или народной музыки, которую передавали по радио, их приносил ветер, – а пристально вглядывался в маленький, соседний с Девочкиным, дворик, составлявший, судя по всему, некое единое целое с ее двором. Там играл десятилетний мальчик.

Сосредоточенный, он был так близко, что можно было рассмотреть два переливающихся улиточьих следа, соединявших его ноздри и рот, которые он время от времени слизывал. Он мучился, пытаясь что-то выкопать из утопанной земли пластмассовым совочком для пляжа, а рядом с его ногой, в назлектризованном ожидании, застыла собачка неизвестной породы. Выкопав довольно-таки жалкую ямку, мальчик вытер грязные руки о собачью шерсть и, наклонив голову, сложил их в молитве.

Обряд продолжался: малыш то изображал равнодушного священника, то скорбящих, то могильщиков,

которые дожидались, стоя в стороне и покуривая, скучая и время от времени крестясь. Потом один из них, совершенно спокойно, с печатью недетской серьезности на лице, взял полуголую куклу без одной ноги и опустил ее в неглубокую раку. После минутного размышления начал ее решительно закапывать. Крест, из двух палок, воткнул в головы могилы. Но окончательная верификация смерти давалась нелегко. Крест падал, мальчик его поднимал и опять втыкал в твердую почву, дело шло трудно, ребенок разнервничался и вправду заплакал.

Но, сынок, – жилец вздрогнул от возгласа, и тогда заметил мужчину, который наверняка уже некоторое время стоял здесь, у дверей, тоже наблюдая за похоронами куклы.

Смотри, – всхлипывал мальчик, показывая отцу разъехавшиеся палки. Отец снова сложил их крест-накрест, закрепил какой-то проволокой, воткнул острым концом посреди могилки. Новый крест наклонился, но не упал. Мужчина слегка приобнял мальчика. Собачка опасливо приблизилась к холмику, тщательно обнюхала символ, и, подняв ногу, пометила место. Молодой человек в своем укрытии рассмеялся.

Он подумал, что такое невидимое присутствие в чужой жизни содержит в себе что-то созидательное, что-то от скрытой, неизвестной силы. Соседний двор, пространство с ореолом его силы, теперь опустел, исчезла и собака, постепенно загорались огни. Лег подбодрком на подоконник, перемещая перышко из одного угла рта в другой, его охватила какая-то бесчувственность, сонливость. Дверь скрипнула, и в снопе света во двор шагнула девушка, с волосами, замотанными по-

лотенцем, она несла таз, из которого выплескивалась вода; вот вода вылилась, прямо на ту детскую могилку, потерянную в темноте.

Мария, – позвал было молодой человек, но закашлялся, едва не подавившись попавшим в рот перышком, так и не ставшим инструментом писателя. Девушка остановилась в дверях, прислушалась, вздрогнула и вбежала в дом, оставляя за собой темный след, не взглянув вверх. (Тот, кого позвали, сначала смотрит налево и направо, подумал жилец, задыхаясь, рассматривая свой мягкий, топорщащийся плевок, и только, если опять окликнуть, посмотрит вверх, на балкон, на крышу, на крону дерева, или, где вы там есть, если вы не попугай, выучивший имена, или ангел, и летите. Никто не ожидает, что к нему мог бы обратиться Бог, это он хотел сказать).

Мария, – повторял он, сидя на полу, окончательно потеряв всякую надежду. Может быть, он и уснул. Кто знает, как долго с нижнего этажа слышался звук Девочкиного голоса, смешанный с упоительными кухонными запахами. Но это ему напомнило, что он весь день ничего не ел, что дико голоден. И он спустился, паря в пламени теплого аромата, как герой мультфильма.

Если бы он, прежде чем закрыть за собой дверь, обернулся и посмотрел вверх, то, возможно, смог бы увидеть, как крохотная душа куклы подлетает к окну и приникает к стеклу.

Мужской профиль

Ты уже печатался? – Госпожа Девочка отхлебнула суп, который дымился перед молодым человеком, когда он, застеснявшись, дул на полную тарелку. С разорванного пакетика ему подмигивал веселый нарисованный петух, и он вспомнил людоедскую рекламу, недолговечную телевизионную басню, в которой этот же менестрель с удовольствием прихлебывал куриный супчик и болтал ложкой в тарелке.

Да, – ответил он утвердительно, и уже видел себя, как из маленького ранца достает засаленный, помятый журнал и немного небрежно, как это бывает, протягивает ей. Дама благоговейно, так ему кажется, берет журнал, надевает очки, на мгновение делающие ее неузнаваемой, сосредоточенно смотрит, немного откинув голову. Жилец наклоняется над столом, едва не столкнувшись с ней лбом, что Девочку озаряет внутренним светом, делает моложе. Она благодарно, пытливыми глазами следит за пальцем молодого человека, палец скользит по гладкому переплету.

Ей известно, что «Летопись» публикует только господ... Ага, Коста Крстич, два стихотворения... Почитаем.

Она закрывает журнал и продолжает есть, это писателю немного обидно. Он бы и сам указал ей хотя бы на краткую биографию («Коста Крстич, родился в Крушедоле», – вычеркнули 24 мая, зодиакальный знак Близнецов, – изучает медицину, пишет стихи и рассказы»), это примерно как объявление, приглашение к переписке.

Ты существуешь, – говорит Девочка, не переставая жевать (она уже перешла к жареным колбаскам), и хотя

для кого-нибудь это может звучать как ходьба по мелко-водью, для Косты, – так зовут нового жильца, – как мы слышим, это звучит приятно.

Я писал о снах и об отце, – заводит он опять разговор, но ему неловко от того, что у него во рту громко хрустит огурец.

А о чем же еще? – отзывается Девочка со знанием дела, равнодушно, корочкой хлеба собирая соус с тарелки и облизывая пальцы.

Вы правы, – соглашается Коста восхищенно, раздумывая, не объелся ли. Он взял бы еще кусочек, но Девочка больше на него не смотрит и не угощает. Составляет маленькую тарелку в большую, и отодвигается от стола. Собачке, крутящейся рядом, бросает остатки кишок, снятых с колбасок, и та их ловит в воздухе.

Видишь, я думала, что уже не люблю есть в компании, как животное, – сказала она, понюхала полураспустившуюся розу в вазе, потянулась за сигаретами, передвинула журнал на хлебные крошки.

И с тех пор ничего? – спрашивает, закуривая. Немного сбоку наклоняется над титульным листом, – с сентября восемьдесят восьмого?

Ничего, – признается Коста, наблюдая, как жир, вытекший из колбасок, затвердевает на дне тарелки.

Ах, я совсем забыла, – Девочка встает на стук в дверь. Идет медленно. Коста замечает, что до ужина она успела переодеться. Оставшись один, он запихивает в рот разрезанную пополам, полу-остывшую картофелину, а голоса приближаются.

Я вас отрываю от ужина, зайду завтра, – она подходит к нему со спины, он цепенеет. Рот у него набит, он

не знает, куда деваться, оборачивается к Марии, которая стоит перед ним и улыбается.

Я закончил, – он пытается оправдываться, дожевывая. Девушка протягивает ему руку, в другой поклажа.

Это мой новый домочадец, – Девочка представляет бедолагу, немного снисходительно, немного насмешливо. – Он тоже писатель, душенька.

Мы знакомы, – говорит Мария тихо, словно не веря, и смотрит ему в глаза.

Вы знакомы, – Девочка разочарована.

По клубу литераторов, – встречается Коста, потому что, наконец, сумел проглотить то, что было во рту, и неловко подносит руку девушки к облизанным губам. Поцелуй щелкает, как умелый удар кнутом.

Ну, не как попу, – вскричала Девочка сквозь смех, зажимая уши ладонями. Мария помогает убрать со стола, она не теряется, знает, где что стоит, заметно, что здесь она своя.

Словно все уже было, – говорит молодой человек, все еще стоя в дверях кухни, и вдруг хватается за голову. Женщины застывают с мокрыми руками и смотрят на него. Это продолжается некоторое время. Девушка прерывает молчание. – Для кофе уже поздно? – спрашивает она. – Я сама, – отвечает Девочка, вы идите. И все продолжается, словно кто-то упал и встал.

*Декоративный натюрморт,
реклама по продаже косметики*

Что ты мне хорошего принесла? – спрашивает Девочка девушку. Теперь они сидят и курят. Кофе никуда не годится. Мария открывает чемоданчик и достает косметику.

Я про вас думала, – говорит она убедительно, – эта компактная пудра подойдет идеально.

Наверное, жутко дорогая, – отнекивается Девочка. Зажмуривается, когда девушка мягко втирает ей маску.

Эти тени придадут вашим глазам глубину осеннего неба, – убеждает Мария и, как художник, который наносит краску прямо на натурщицу, отходит от Девочки и оценивающе ее рассматривает, поворачивая той голову то влево, то вправо.

Я выгляжу, как индеец, – отмахивается Девочка перед зеркалом.

Вы всегда так говорите, – Мария терпеливо кивает, смешивая новую краску для волос.

И каждый раз ты меня разрисовываешь, как пасхальное яйцо, – вылетает у Девочки раздраженно, постарушечьи, – дай-ка сюда...

Но вы все испортите...

Заплачу, если чего-нибудь не хватит, – шипит старуха, и сама вычерчивает карандашом дрожащие дуги над бровями...

Никто не говорит об оплате, тетя, – произносит Мария с горечью.

Я тебе тысячу раз говорила, – злится Девочка, ладонью стирая косметику с лица, – никакая я тебе не тетя, нет у меня никого.

Слава Богу, что нет. Только вас мне не хватало. Видите, что вы с собой сделали?

Подносит зеркало к женщине, та отворачивается, зажимается, дышит на зеркало, чтобы оно запотело, но быстро сдается и пристально всматривается в испачканное лицо, в смесь старости и грима, в размазанную

тушь и несмываемые морщины, и тихо, бессильно всхлипывает. – Мария, помоги мне!

Девушка нервно отрывает большие комки ваты, наливает на них косметическое молочко и грубо вытирает старухе лицо.

Всякий раз одно и то же, – невнятно ворчит Мария. Девочка плачет.

Прекратите, – говорит Мария резко, вновь нанося краску. Девочка задерживает дыхание.

Словно обнаружив себя на ведьмином шабаше, Коста в растерянности встает, на цыпочках подходит к полке с книгами, берет первую попавшуюся. Переплет книги жесткий и обгоревший, словно кто-то в последний миг выхватил ее из пламени. Молча перелистывает заскорузлые страницы.

Ты сегодня продала что-нибудь, дорогая? – слышит он у себя за спиной... – Почти ничего.

Я возьму пудру, – говорит Девочка решительно.

Вы не должны, – отнекивается Мария, – вон, вчера вы сколько купили.

Ни слова, не волнуйся, она мне нужна.

Она вас... делает другой, – девушка находит подходящие слова.

Эх, – вздыхает Девочка и спрашивает цену. – В марках? – Они переглядываются.

Не беспокойся, – говорит клиентка громко. – У меня есть новый источник, квартирант!

Коста понимает, что сейчас надо бы что-нибудь сказать, но только криво усмехается.

И сколько процентов теперь идет тебе? – спрашивает Девочка, как будто не знает.

Мало, – отвечает Мария устало.

Не ходи по здешней округе. Здесь сплошь просто-народье. Трудно найти нормального человека. Эти, через дорогу, сегодня ночью опять скандалили. И кастрюли летали, и цветочные горшки. Этот в отпуск приехал, на свадьбе напился... Найди каких-нибудь попрличнее. Не мечи «Ревлон» перед свиньями.

А когда мы займемся, ну, тем делом? – прерывает ее Мария, переворачивая кофейную чашку, на дне которой затвердевали мечты. – День приближается.

Я тебе сказала все, что было... Остальное обо мне. А это – ему, – Девочка указала на Косту. – Он напишет.

Мария непонимающе посмотрела на них.

А картины?

Бог с тобой, детка, я показала тебе все. Не знаю, о чем ты, убей Бог.

Знаете. Я рассказываю о неизвестных картинах Богдана Шупута, тех, из вашего виноградника. Давайте без шуток. В феврале будет пятьдесят лет со дня смерти художника. Да, шла война, но жизнь продолжается. Я договорилась, что мы отметим это в студенческом центре. Вы забыли, что я пишу статью о его судьбе? Что я хочу сделать выставку картин, о которых думают, что они утеряны? Это мой большой шанс, вы должны мне помочь.

Но я не знаю, где эти картины! Ты по-сербски понимаешь?

Не знаете? А бюст вашего брата? А «Карловацкий виноградник Йовановичей»? И об этом, вроде бы, тоже понятия не имеете? Все сгорело? Разве не вы его главная модель, *муза, Девочка в саду*, разве не так? Разве мне нужно утонченное общество, может быть, я соби-

раюсь завещать виллы клубу литераторов? И почему же тогда, какого черта, вы прячете? Почему утаиваете?

Успокойся, а то тебе опять станет плохо. Посмотри, брызжешь слюной. Мне хотелось бы, чтобы сейчас ты ушла. Нет, нет, ты меня утомила, я хочу, чтобы ты встала и вышла. Мы закончили. Я больше не могу. Коста, прошу вас, проводите Марию.

* * *

Коста идет за девушкой. Он похож на охотника, который отправился за Белоснежкой в лес, откуда он вернется с ее сердцем серны на острие копья. Но не следует так далеко заходить. Когда они подошли к последней двери, Мария останавливается, берет его лицо в свои ладони.

Ты думаешь, это похоже на сон, не так ли? – произносит она шепотом.

Черт его знает. Похоже, – соглашается молодой человек. Он чувствует ее грудь на своих ребрах. Откуда-то доносится свадебная песня.

Ладно, – утешает его Мария Ш., – ты привыкнешь. Пальцами она чувствует его пробивающуюся щетину.

Я пытался, – квартирант произносит то, что от него ожидают.

Только потихоньку, она сломается, я знаю, – шепчет Мария.

Я пытался, та дверь заперта, – говорит Коста.

Важно, что ты здесь. Попробуем вместе, когда она пойдет на кладбище.

Разве эти картины чего-то стоят? – с сомнением спрашивает молодой человек.

Стоят, – говорит Мария тоном, исключаящим любые возражения.

А если их и, правда, нет? – осторожно продолжает Коста.

Не раздражай меня, – дыхание Марии учащается настолько, что это пугает собеседника. Во что я ввязался, – подумал бы он, не будь зачарован.

Я сегодня вечером видел тебя из окна, – Коста приподнимает брови.

(Дальний свет проезжающего автомобиля мелькнул по профилю девушки, и этот блестящий лак на мгновение превращает ее в незнакомку. Слеза скользнула сквозь замочную скважину.)

Они слышат, как Девочка зовет Косту.

Иди, не то она что-нибудь заподозрит. – Коста, – зовет старуха. Они стоят совсем близко друг к другу. Молодой человек пытается коснуться ее губ. Не надо, – она уклоняется. Ее трудно удержать, она как перышко. От ее прикосновения ему щежотно.

Вернувшись в гостиную, он застаёт Девочку в сползших очках, спящей в кресле у граммофона, который вращается вхолостую. Снится ли ей что-нибудь? В ответ Девочка храпит, как будто распарывается шов. Спокойной ночи, – говорит свежееиспеченный биограф. Земля тебе пухом.

* * *

Прежде чем подняться в комнату, он вновь занялся той дверью. Наклонился и почувствовал, что из замочной скважины дует. (Ничего-то у него без ключа

не выходит). Так он стоит, босой, пытается что-нибудь рассмотреть. Поздно, картина постепенно застывает.

Темно, как в преисподней, но слышны шаги. Походку Марии он узнал бы из тысячи. Она немного косолапит, это ее делает скованной, бессильной. Коста сильно сжимает челюсти. Ключ подходит к другой замочной скважине. Она не зажигает свет, раздевается в темноте. Может быть, только настольную лампу, похожую на гриб, свет которой поглощает пол, и поэтому отсюда ничего не видно? Она словно проваливается в нору. Словно прячет козы ножки.

Коста ложится в постель и закрывается с головой. Ступни застыли от холода, кровь заледенела, он чувствует себя, как в аквариуме. Спать не может, а думать не о чем. Выныривает из-под одеяла, нащупывает выключатель ночника, слышит, как внизу ходит старуха. Берет ранец и, покопавшись в нем, достает пачку сложенных пополам листов. Поднимает повыше подушку, удобно устраивается, удовлетворенно вздыхает, в течение нескольких секунд наблюдая, как бумага, которую он во время всех этих манипуляций положил на грудь, подрагивает в ритме сердца. Если долго во что-то такое всматриваться, то покажется, что бумажная субстанция пульсирует самостоятельно, независимо ни от чего, ты словно вдохнул в нее жизнь, а сам увял, жизнь – заразная болезнь.

Он отмахивается от ночных наваждений, разворачивает листы бумаги, это статья, эссе, точнее, черновики, небрежно их перелистывает; бледная машинопись, исчерканная поправками от руки, похожими на мышьи укусы; правка везде и всюду, на полях, между стро-

ками; у читателя заболит голова еще до начала чтения. Коста пролистывает с конца и, наконец, добирается до первой страницы, на которой посредине написано:

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ БОГДАНА ШУПУТА
(1914 – 1942 – 1992)

Смотри-ка, какая-то футуристическая пьеса, из ближайшего будущего, до финала остался месяц. Это было похоже на маленькое жало, вонзенное в ту, имя которой стояло внизу страницы, сидело в самом начале текста, как швейцар, то есть, **Мария Ш., студентка.**

И теперь он приготовился читать или погрузился в сон, кто его знает.

Сцены из жизни
Богдана Шупута

Введение: carte blanche

Богдан Шупут со своей несчастной семьей (а несчастье, кто бы что ни говорил, всегда одинаково) скитался как Вечный Жид. Сначала государственная служба мотала отца туда-сюда, в ритме «Марша Радецкого», от Карловаца, через Крижевцы, до Сисака, где ему, ревизору финансовой гвардии, бедняжка Эвица родила сына. Тот год был отмечен сараевскими выстрелами Гаврило Принципа, и отец (не Адам, но Прокопие) окрестит сына громким именем звонаря, которое прекрасно сочеталось с их шепчущей, мягкой фамилией. Мило. Светлое и темное, Богдан и Шупут, война и мир.

Итак, дитя появилось на свет в городе Сисаке, на Гаевой улице, долгожданное, утомленное собственным плачем, и еще без души, маленький старичок. И если бы тогда, вообразим себе, оно припало к одной из усохших грудей прорицателя Тиресия, а не к голубоватой груди своей простоватой матери, или, хотя бы, сквозь аустинное гнездо на дымовой трубе провалилась какая-нибудь бесстыжая пьяная рожаница¹, то стало бы известно (еще не осознающему свой пол, как ангел), что через десять лет – прямоком в Нови-Сад, увядший и отяжелевший от старой славы, сначала на

1 В славянской мифологии существа женского пола, определяющие судьбу ребенка при рождении.

Таможенную улицу, 9, а потом и на Сокольскую, 6. Вскоре после того, как Прока скончался от паралича сердца спустя шесть дней после восемнадцатилетия Богдана, где папаша еще приплясывал и напевал, а через год после отца ушел из жизни и их старший сын Бранко, солдат без лица, Эвица переедет на Площадь Освобождения, в квартиру окнами во двор облезлого дворца Вагнера. Но Богдан уже будет в Белграде, сначала на квартире у родственника Опсеницы, потом на улице Короля Петра, 4, юный слушатель Королевской школы искусств. Что еще видно в хрустальном шаре? Переезд на набережную Дуная (сейчас ее называют Белградской), и возжеленный Париж, Латинский квартал, Grand Hotel de Suez, 31, бульвар Сен-Мишель, столько раз, а потом первая мастерская в Нови-Саде, на улице Луи Барту, 5 (бывшая Венгерская).

Могло ли бессловесное дитя вспомнить все эти адреса, позже, во сне, как часть сказки или колыбельной, пропетой в разбившийся глиняный кувшин? Мы утомились? Надо еще пройти, но идти надо быстро, через силу. Десятая рота Училища офицерского резерва в Сараево (казарма на холме, на расстоянии пушечного выстрела от города); статус: курсант, рядовой; лагерь Шталаг IVA, Ольберсдорф, порядковый номер заключенного 22328 IV B, Дьявольская Мельница, Саксония. Думаете, что есть что-то еще? Есть. Нови-Сад, Дунайская, 34/II или Dr. Bardossy László utca, Ujvidégh, что, в принципе, одно и то же. Могилы нет.

Слышит ли новорожденный все это? Понимает ли услышанное? Осознает ли себя, когда так истошно вопит? Кричит ли он от того, что все слышал и понял?

Мы не знаем. Но не знают и те, что делают вид, что знают. Мы можем только верить. Но не верим.

И поэтому, вот карта, путеводитель, путевые заметки, или как бы могли все это назвать. Вообще-то, каталог выставки картин.

Глиняный горшок и ступка

Коста просыпается глубокой ночью от лая собаки. Поднимает руку, которая затекла и онемела под тяжестью его тела, другой рукой, но та вяло падает. Он начинает ее нервно массировать и вздыхает с облегчением, когда мурашки крови, наконец, начинают скользить от плеча к пальцам. Ночью температура сильно понизилась, и поэтому, наверное, он так неестественно скрючился под слежавшейся периной, похожий на погасшее огниво. Что же ему снилось?

Он с трудом ориентируется в ворохе сновидений, под которым обычно оказывается, как под кучей влажных шкур животных, вот такое это было ощущение. Но он никак в этом не мог разобраться, неловкий, когда речь заходит о снах, и обычно на заданный вопрос не отвечал ничего. Мне ничего не снилось, а если и снилось, я не запомнил, грош цена всем этим снам. Он часто просыпался среди ночи, все время во власти какой-то полудремы, никогда не засыпал крепко, как убитый, как человек, так сказать, с чистой совестью. Где-то он слышал, что видения возможны только тогда, когда сон глубокий, но это его не заботило, он по-прежнему оставался на поверхности, напряженный, его могли разбудить муха или обычный дождь, он не умел провести границу. Кому вообще до этого есть дело, «что тебе снилось», праздным теткам, осчастливленным наследникам сонников, фру-

стрированным психоаналитикам, старомодным поэтам? Одним словом, вообще никому.

Говорят, в детстве он был лунатиком, однажды проснулся в шкафу, в другой раз его обнаружили на железной дороге, прямо у рельсов, но он ничего не помнил, не хотел помнить и кружившие об этом рассказы, смущавшие его; впрочем, он ненавидел детство. Поэтому, наверное, когда хозяйка за ужином спросила его о родителях, он притворился неловким. Он не верил в генетику, если это вообще вопрос веры. Возможно ли оборвать все связи, забыть имена членов своей семьи, отречься от крови? Девочка с сомнением качала головой, о, да, она думала, что я вру, по форме моего носа можно догадаться, что я лгун. Человек покидает дом, *sweet home*, он хочет покончить с происхождением, но находит новое обиталище в двухстах метрах от старого, с Караджорджевой улицы, по Темеринской, на улицу Патриарха Чарноевича, да это же на расстоянии плевка, так, сынок, не пойдет. Или, возможно, он вернулся бы, с поджатым хвостом, подобрав когти, переходишь через улицу, и вот ты снова в старом мире, припал к материнской груди. Пардон, о груди не будем, о материнской тоже, если это неприятно, но ни один таксист не повез бы так близко, а только дал бы презрительно по газам, в бешенстве прибавляя оборотов двигателю ... Он все еще не хочет поговорить о своей семье? Это у него пройдет. Когда-нибудь. Ну, раз так, зачем пережевывать, продлевать инфантильные капризы? Чего он боится? Своего имени? Это же просто псевдоним (как это?)... Крстич? Разве она похожа на ту, что поедает чужих детей? Наплевать! Она слишком стара для ненависти. Давай-ка, ешь и не отчаивайся. Все устроится. Не устроится? О, значит, кошечка язык прикусила? А он

заметил, что в этом доме пованивает кошками, хотя никогда ни одной не было, действительно, феномен, а? Как и все любители собак, а это стопроцентно доказано, она просто не переносит кошек. Тут есть одна собачка, но ее надо подманивать особым свистом, подожди, сейчас прожую, фи-ю, смотри, какая, грязная, как тряпка, так, перевернем-ка мы страницу! А спрошу-ка я, если он уже успокоился, душевно, о родителях больше не будем, она обещает, но пусть он ей скажет прямо, не виляя, может быть, он прячется от призыва, сюда джип военной полиции каждый день приезжает, за одним таким, из дома 13, но он, как заколдованный, исчезает у полиции из-под носа, шелкнешь пальцами, и нет его, а только они повернут за угол, и вот он, целыми днями тарахтит своим мотоциклом-пердуном, извините за выражение, вот так, нахально, у всех на глазах, ей-богу, заявила бы на него, так действует на нервы неотесанность, и мамаша у него точь в точь такая же, вечно заплаканная, рот не закрывается, я бы им сказала, какое богословие, какой из него семинарист, с несчастной мотоциклеткой не может справиться, грубиян с толстыми пальцами, если он ремесленное сумел закончить, то провалиться ей на этом месте, по глазам видно, какой болван, однажды назло ей разбил садовых гномов, потом пришла мамаша, ныла, выворачивала наизнанку пустой кошелек из кожанменителя, она ее выгнала вон, а сынок с тех пор, и правда, на нее смотрит до невозможности гадко, и ощеривается, стоит ей пройти мимо. Лучше ей помалкивать, у него точно не все дома. А как было бы приятно на него заявить, уф, таким и надо идти служить в армию, что бы, например, там делал Коста, там, на фронте, она же понимает, он человек искусства, но даже если дело в чем-то другом,

она подчеркивает, хотя это для нее ничего не значит, она действительно это понимает, а этот-то, нет-нет, напьется и ну орать какую-нибудь песню четников, словно здесь когда-то четники были, «убьем, зарежем», Боже сохрани, а когда на себя надо надеть форму, по-честному, тогда нас нигде нет, она бы уж таким показала.

Лежит Коста Крстич, студент медицины, кость на кресте, если ты не заткнул уши, тот, что раскрестился бы (для тех, у кого под рукой нет сонника), лежит в своей новой кровати, скрипящей от одной только мысли, что ты пошевелишься, и если сейчас коснуться его рукой, он не смог бы сказать, этот разговор с Девочкой он повторил во сне или мысленно, вот такие у него сны.

Куда он отправился, но споткнулся на пороге? Хорошо хозяйка сказала: он мог поселиться в своем дворе, в пустой собачьей будке. Но что, собственно, она знает. Ничего. Ее опыт сводится к догадке. Польза от долгой жизни. В конце тебя настигнет сенильность, все забудешь, и, словно ты умер мальчишкой, все то же самое. А ей ничего иного не известно, только «моя маман, мой папочка», как это печально, когда кто-то, такой старый, тупо пялится на генеалогическое древо, а если только оно и остается, и ненадежный Бог.

Коста то видит сны, то думает. Где-то под утро просыпается совсем, и все вещи вокруг становятся такими четкими, словно полностью рассвело. В эти мгновения, когда сердце бьется как сумасшедшее, он, окончательно проснувшись, как воплощение страдающего бессонницей, подумал: может быть, я проснулся, чтобы встретить смерть, они хотят, чтобы я знал, – и через силу опять закрывал глаза.

Это ночи, когда надо спать в теплых носках, а Коста – как младенец. Он, по правде говоря, ничего не

имеет против матери или отца, но уже сыт рассказами о корнях, большинство людей хотели бы самоидентификации посредством чего-то иного, словно можешь познать себя, лишь иссекая скальпелем несносных родственников. Сколько книг в библиотеках, над которыми витают и притворно бдят толстые повивальные бабки писателей, эти, с крыльями? Разве ты герой только потому, что у тебя есть дети, разве мир сотворится только из дрожащего клубка, после тяжелого ужина и вина, когда не получается уснуть после возбуждения от порнографических фильмов или всеобщего разврата?

Он бредет вниз по ступенькам, хочется пить, ему кажется, что сейчас умрет от жажды. Слишком темно, чтобы вспомнить о знаменитой картине. Обнаженный спускается по лестнице? Распадающаяся обнаженная натура? Мы ничего не знаем, темно, нет луны, электричество отключили. Но можно верить. Это остается всегда. Пойди в церковь и бейся головой о стену, может быть, станет легче. Коста пьет из крана, сосет металлическое вымя, вода тяжелая, ржавая, от такой воды портятся зубы и искривляются кости, выпрямившись, он чувствует боль в желудке.

А это отец? Здесь? – спрашивает Девочка, постукивая пальцем по журналу.

Только в рассказе, – говорит Коста, она его застала врасплох. Не рассказ, он хотел повторить, что верит в непорочное зачатие, и что для рассказа важнее быть более интересным, чем факт, что ты существуешь.

Значит, так, – заключает Девочка, словно знает. – Я почти забыла.

Она встает, чтобы впустить Марию, прежде чем услышала стук в дверь.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (I)

Гаева или другая улица, Сисак

– постель, малый формат,
неоконченное, след потерян –

Женская работа

Набросок, в спокойных тонах и с нежными переходами, однако у внимательного зрителя он вызовет болезненное ощущение шума в ушах. На первый взгляд, все уравновешенно, но как перед болезнью, в продромальном периоде, когда человек уже заражен, но еще бодр, еще не сознает своей слабости.

Мы видим двухэтажный особняк полоумного графа Кеглевича, здание как будто всегда было старым. В доме четыре квартиры, толпы детей и несчетное количество окон. Оно простое, как будто бы в нем нет тайн, его вид успокаивает. Скат крыши гармоничен, а тянущиеся вверх трубы четко выделяются на фоне ясного неба. Без Луны, звезд и Бога. В таком здании душа с легкостью покидает тело.

Эвица, еще слабенькая после недавних родов, напевает в одном из окон. День сентябрьский, пронизанный светом, и как будто не собирается угасать. Она ждет Проку, когда он появится из тенистой аллеи, в сером костюме солидного писаря. Тогда она ему помашет. Она не увидит, помашет ли он в ответ, или только вздохнет, потому что обернется на детский плач. Но пока

она еще здесь, и почти счастлива. У Прокопия это второй брак, но она знает, что принадлежит он только ей. И вот так, наверное, поглощенная песенкой о счастье, опускает взгляд, ослепнув от отражения яркого солнца, машинально думает, что надо бы вымыть окна, проводя пальцем по раме, в которой стоит, а потом вздрагивает от свиста, раздавшегося снизу, это ее приветствует милый Прокопие, поднимая трость до уровня глаз, словно древко без знамени. Он опять меня опередил, она почти недовольна, но улыбается, видя, как он что-то прячет за спиной. Наверное, яблоко или какая-нибудь милая вещица, о которой она даже не думала, что она ей нужна, только восторженно и благодарно сложит руки. Сердце ее наполнено счастьем, хотя она слышала, что началась война. Слава Богу, мальчики маленькие. Да и закончится все быстро. Крикливый малыш трясет колыбель. Что ему приснилось? А снится ли им что-нибудь, спрашивает она себя, подходя к люльке и беря ребенка на руки, они же еще слепые, как котята. Наверное, он видит сон, – говорит она убежденно, когда слышит шаги мужа на лестнице, – хотя ничего не знает, видит во сне Лик Божий, – и крестится свободной рукой.

В этом же окне мы можем видеть Эвицу несколько лет спустя. Если она и изменилась, то совсем немного. Она моет окно, и время от времени бросает взгляд на Богдана, как он играет в уличной пыли или гоняется за котом. Потом слышится знакомый свист. Но что-то рано, думает она. Выглядывает в окно, но на солнечной стороне улицы только темноволосая, похожая на мячик, фигурка ее сына. Обманичик, – кричит она и грозит ему пальцем, а малыш хихикает. Отец научил

его отлично свистеть, он легко подражает любому музыкальному инструменту, ну как не передразнить и папочку. Вот мальчик насвистывает и марширует, мать закусывает губу. – Хватит баловаться, – бормочет она себе под нос, а стекло пищит, как мышь, и нервный человек этот звук вынести не может.

Посмотри, что я нарисовал, – пристает мальчик и показывает что-то, нарисованное в пыли пальцами и прутиком. – Тебя!

Прелестно, – говорит женщина, хотя ничего не может рассмотреть.

Замолчите, наконец, и перестаньте верещать, вы беспокоите моих лошадей, – кричит из какого-то окна старый граф Кеглевич, он болен и не в своем уме, поэтому дети его дразнят.

Мать подает испуганному ребенку знак. Он бы бросился к ней в объятия. У него голубиное сердечко, таким он останется навсегда. Однажды, спустя много лет, увидев в Париже уличную драку, он в ужасе спрячется в тень, бледный и задыхающийся, и будет стоять, прислонившись к стене, на подкашивающихся ногах, еще долго, ослабевший, как на солнцепеке, пока взъерепенившиеся галльские петухи не разойдутся и не уберутся с улицы, а тахикардия окончательно не стихнет.

Но оставим это, не будем понапрасну насмешничать, кто никогда ничего не пугался, пусть первым бросит камень, лучше посмотрим, как он убегает не в материнские объятия, а в другую сторону, от страшных, безумных глазниц графа.

Если бы размеры рисунка были чуть больше, мы бы увидели стоянку фиакров, ведь дом расположен не-

далеко от железнодорожного вокзала. Здесь целыми днями дремлют ломовые извозчики и их клячи, дымится теплый, зеленоватый лошадиный навоз, было безопасно среди этих грубых и шумных людей, щелкающих кнутами, как молниями. Ах, было бы безопасно, если бы Богдану опять ничего не угрожало. Потому что с некоторых пор здесь болтается его сверстник, некий Палика Блашкович, родом из Нови-Сада, а его отец, извозчик, обретаётся здесь уже какое-то время. Ой-ой, этот маленький мадьяр – сущий дьяволенок. Рассказывает Богдану о городе, из которого прилетел на ковре-самолете. Чего только в том городе нет, как в колодце желаний.

Когда вскоре Прокопия переведут, именно в Нови-Сад, Богдан вспомнит рассказы Палики о каком-то Футошском рынке, где такие горы арбузов, что, чихнув, можно погибнуть под их лавиной, о хлебе, который можно есть и есть, целых три дня, а до противоположной горбушки все равно не доберешься, о таких холодах, которые можно пережить, только забравшись к какой-нибудь бабе под юбку.

Как же Богдан в изумлении широко раскрывал глаза, таращился, качал головой, краснел из-за этих рассказов о волшебном городе! Как же он исстрадался из-за своего обыкновенного, крошечного Сисака, над названием которого тот ужасный мальчишка смеялся!

И все-таки, Богдан по своей воле бежал навстречу всем этим унижениям, навстречу издевательствам, только бы как можно дальше от пронзительного взгляда графа. Лошади ли нервно подрагивали и ржали, люди ли сильно шумели, оводы и гигантские мухи очумели,

нам неизвестно, этого не видно, но мальчик пробегал мимо них, затаив дыхание, и уже поднимал руку вверх, чтобы поприветствовать Палику, он уже без сопротивления сдавался на милость и немилость рассказов, как в борьбе, у него на устах уже было имя, и тут он увидел своего друга-врага, как тот наклоняется, поднимает что-то с земли, а Богдан и не предполагал, что бы это могло быть, Пал на него не смотрел, как будто отстранялся от него, – Пали, – зовет Богдан, – а потом чувствует страшную боль над глазом, и красная пелена застит ему глаза.

Мы не видим этого, но, мальчик, пришедший в сознание, видит над собой какие-то широкие, жесткие лица, видит здорового дядьку, который без усилий, бегом, относит его домой, но прежде чем он увидит лицо матери, охваченной паникой, а перед этим – вопросительное, почти озабоченное (боже мой!) лицо графа, краем глаза, еще рядом с фиакрами, Богдан замечает, как на извозчика, грозящего кулаком и что-то орущего на языке наших гусаров, значит, и на своего отца, буйный Пал поднимает камень, с таким спокойным и страшным выражением лица, что тот великан, оторопел и засомневавшись, останавливается.

Это воспоминание, шрам над бровью, след от камня, брошенного мальчишкой, уверенным в собственной безнаказанности, увидит и кровный враг Шупута.

Потом, уже юношей, играя в кегли на нови-садском Штранде, Шупут повредит то же самое место. Возвращаясь с пляжа, он на рынке купит матери и тетке арбуз, огромный, как его раненная голова. Картина из детства проявится.

Фигура стоящего обнаженного мужчины с поднятыми руками

Неужели это на самом деле происходит, спрашивал себя Коста Крстич, уткнувшись лицом в пуховую подушку (с болью в горле, которая знакома всем, кто спит с открытым ртом), руки он поджал под тело, а замерзшие ступни торчали между прутьев спинки и показывали язык. Ты, убийственная ночь, с тенями призраков и чудовищ, – скользило где-то на грани его сознания, и каждое утро он был утомлен и стар. Бывали дни, когда свое состояние он пытался объяснить недостатком чего-то, железа в крови или, кто его знает, минералов, в общем, отсутствием, которое делает мышцы безвольными и слабыми, мозг – липким, сердце – ленивым. Что надо есть и пить, чтобы заполнить пустоту понятной краской?

Об этом размышлял (если скольжение по поверхности можно назвать размышлениями) будущий старый доктор и литературный эксперт К., полагая, что, может быть, он страдает редкой болезнью – размягчением мозга, превращающей мозг во что-то, похожее на детскую кашку, подгоревший сутляш¹. И когда он, зажмурившись, ставил диагноз, то никак не получает-

1 Сладкая рисовая каша на молоке.

ся вспомнить его латинское название (вот, еще один симптом!), вдруг почувствовал, как по ступне скользит что-то влажное и щекочущее, он, вскрикнув, вскочил с постели, сильно ударившись пальцами о металлическую раму, с налившимися кровью глазами, с бухающей колоколом тахикардией, которую он ощущал даже в носу, и уперся взглядом в мутные глазки приставучего шаловливого песика, черневшего на грани его нервов, скажем так. Вздохнув с облегчением, Коста позвал собачку, похлопывая себя по бедру, и та, поджав ушки, свернулась клубком у него на животе. Человек почесал собачке животик, взглянул на часы, – неужели так поздно? – вскричал, собачку оттолкнул.

В комнате приятно пахло дымком, потому что хозяйка уже затопила печку. Коста встал у окна, отдышался. Солнце уже разлилось по садам и канавам, эта погода не для чувствительных, утром ночь забирается в собачью будку, а полдень – в теплый свинарник, слишком большие перепады для его маленького сердца. И вчерашняя могилка осела, какой-то велосипедист звонил и звонил, из ртов прохожих вырывался пар, как облачка у героев комиксов, не хватало только слов. Коста встал на цыпочки, чтобы увидеть Девочку, которая возилась с автомобилем, но ее частично загораживала голая крона укусного дерева. Молодой человек чувствует легкое головокружение, садится на кровать. И так он сидел, пока солнце не поднялось до его бровей.

Тогда он достал из ранца несколько чистых листов бумаги и положил их на изъеденный древоточцем секретер. Опять засунул руку в ранец и нащупал там пугач. Долго смотрел на него, заглянул в дуло, поскреб

что-то, похожее на пятно, которого на самом деле не было. Стал копаться дальше, нашел, в конце концов, потерявшийся было фломастер, с которого где-то упала капелька, испачкал пальцы. Расправил перед собой бумагу, удобно уселся, уставился в пустоту.

И так он какое-то время спокойно сидел, а потом, высунув от усердия кончик языка, написал в середине листа: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ, тут же зачеркнул и исправил – АГИОГРАФИЯ. Понял, что не знает, как точно зовут Девочку.

Он скользит взглядом вокруг, по натюрморту, словно ищет помощи у предметов, пока не останавливается на обнаженной груди (он полуодет). Как я распустился, у меня появилась женская грудь! И откашлялся, будто собираясь громко заговорить.

Когда бы я ни лег спать, каким бы ни был усталым, я всегда просыпаюсь в недобрый час, без всякой причины, до рассвета. В газетах полно рассказов об инфарктах, случающихся по утрам, мое сознание абсолютно ясное, я словно облит водой, и ощущаю беспокойное kloкотание под грудиной. Я не знаю, это ипохондрия или страх смерти, или какая-нибудь иная нормальная причина, но пока я жду, когда сердце займет горизонтальное положение, как маленькое зеленое сердечко на нивелире, придет в (кажущееся?) равновесие, меня обволакивает мучительный сон, словно кто-то внезапно укрыл меня одеялом с головой и барабанит по мне до изнеможения, а утром я все забуду и перепутаю, и это пограничное событие, этот темный магнетизм можно будет распознать только по остаткам резкого запаха пота и налитым кровью глазам, которые ниче-

го не видят, по глазам, ослепшим от чтения жития святых всю ночь...

Здесь писатель удовлетворенно прищелкнет языком, пробежит глазами по написанному, добавляя тут и там пропущенное слово или знак препинания. Ищет что-то тяжелое, находит большой флакон духов, толстого стекла (на дне которого еще сияет золотом ароматный осадок, похожий на ворсинку для щекотки), прижимает им свою писанину. Хорошо, это хорошо, – убеждает он самого себя. Но если у них вырастут крылья, и они навсегда упорхнут, мы не будем травиться каустиком. Он знает, сейчас девяностые годы, ему не надо затачивать гусиное перо. Но зачем ему компьютер? Перемещать курсор и вновь прикасаться? Таращиться в свое лицо на погасшем экране? Важно то, что таких рассказов у нас полно дома. Литература – тяжелое дело, не рассчитывай на это, если тебе нужны поблажки. Да, меня пугают машины, – признает он, качаясь на стуле. Мне нужен человек, а не компьютерная иконка. Разве не мой идеал – воскрешение мертвецов? Это алхимия, а вовсе не электронные четки! Дни, благоприятные для зачатия и неблагоприятные, термометр во рту. По правде говоря, я еще не успел ничего сделать, все это подготовка и дескрипция. Да и откликнулись пока только дети и озабоченные родители, написать сочинения, из-за несносных учителей. Хотя это неплохая тренировка, притворяться глупым ребенком, угождать заданному вкусу... Когда я оживлю количество мертвецов, достаточное для немногочисленного народа, – провозглашу себя королем!

Вот в каких мыслях застает Девочка нашего писателя, вздрогнувшего от ее прикосновения, словно он

увидел призрак. Инстинктивно прикрывает ладонями написанное. Девочка смотрит на него странно.

Я горло сорвала, дозываясь тебя снизу, – говорит она, – но по глазам ее видно, что думает она совсем о другом. – Вижу, ты работал.

Так, записывал кое-что, – Коста скромничает и опирается на локти. – Вы что-то хотели?

Не поможешь мне с машиной? Аккумулятор садится, никак не заведу. А мне надо в город, по делу.

Я в таких делах тупой, – он нервно кривит рот.

Я и не думала, что ты в этом понимаешь, – говорит Девочка презрительно, – просто подтолкнешь немного. Руки-то у тебя есть.

Я еще не умывался, – бормочет Коста неуверенно. Быстро одевается, неохотно спускается вниз. Женщина кривится на стук его башмаков. Разумеется, она отодвигает флакон и подносит лист бумаги к окну, начинает разбирать кусачий почерк, водя пальцем по строкам и шевеля губами. Не понимает, но говорит как бы про себя: Боже, он начал. И всё правда! Если бы кто-то сейчас мог ее видеть, то сказал бы, что ее лицо осветилось внутренним светом. Она слышит приглушенный сигнал автомобиля. Кладет бумаги на место и спешит вниз. В раскрытое окно слышно, как Коста нажимает на сигнал.

Хватит, – отталкивает она его. Он знает, она рылась в его вещах. Наплевать, – успокаивает он себя, – по крайней мере, видит, что я не бью баклуши, и упирается руками в багажник «фиатика». Вдруг вспоминает ее полное имя, как будто для этого было необходимо физическое усилие. После двух-трех кашляющих по-

пыткок удастся завести мотор, и она радостно выходит. Машина на редкость шумная.

А ты водишь машину? – спрашивает, перекрикивая шум мотора. Коста отрицательно качает головой.

Хи-хи, – я вожу машину с десяти лет. Это легче, чем на велосипеде!

Подпрыгивая, автомобильчик трогается с места. Заодно Девочка вытирает запотевшие стекла, Коста опирается на каменный забор, давящий на него, грешного. С другого конца улицы ему машет Мария. Маленькая Мария.

Ave, Maria, gratia plena.

Человек с бакенбардами

Разве это возможно, чтобы такой красивой женщине для знакомства потребовалось объявление?

Комплименты, чаще всего, банальны, – думает Девочка, – любовь не терпит оригинальности и эксцентричности. Котик, зайчик, пупсик, солнышко мое, мой милый, ай-ай, моя дорогая покойница. Ты бы осмелился продолжить, – спрашивает Девочка, и ей кажется, что низкорослый, лысоватый мужчина, небрежно приклонившийся к капоту «фиата-750», повторяет свою привычную формулировку обольстителя (которая ей настолько приятна, что, в конце концов, это действует на нервы), голосом надежным и спокойным, почти сонным. О, это ей в мужчинах как раз нравится, такое спокойствие, нервозность зарезервирована за женщинами, хладнокровие, вот что ее заводит, уравновешенность, никогда не знаешь, когда она превратится в стихию, после которой остается пустыня.

Она смотрит на мужчину, щегольски заломившего соломенную шляпу (время от времени он ее приподнимает и протирает платком внутреннюю кромку), как он лениво усмехается, покусывая пустой мундштук, скрестив руки на груди, по-пизжонски опираясь ногой на колесо маленького блестящего автомобиля, с взглядом человека, прошедшего огонь и воду, взглядом, который скорее похож на узкую щель, боже, как она западает на такой взгляд. Где ты был все эти годы, – хотелось бы ей сказать, – он смотрит на нее так пристально и пронизательно, что она чувствует себя разоблаченной и обнаженной, она почти забыла, что можно отдаваться вот так, раньше она и подумала бы о ком-нибудь, вот этот, какая у него походка, он знает, как мужчина должен пахнуть, но стоило тому заговорить, позволить себе какой-то неуместный жест, чем-то обнаружить потерянность и боязливость, и Девочка мгновенно закрывалась, грубела, овладевала пространством своей тоски, обращаясь к несуженому, с трудом скрывая отвращение, удивляясь сама себе, как она вообще могла так легко оступиться, как она могла подумать о чем-то таком, недостойном, и хваталась за сигарету, зажмурившись, глубоко затягивалась, и дым скоро дарил ей забвение.

Итак, она никак не обнаружила своего головокружения ни перед этим новичком, который так нахально поглядывает на нее вполглаза, неужели она докатилась до того, чтобы дрожать перед самым обычным инструктором по вождению, перед нагловатым типом, фуй. Впрочем, все это только игра, которой извне не видно, трепетание человеческой рыбки в ее сердце, тайная за-

бава, контрабанда, она годами не была ни с кем, разве ей вообще кто-то нужен после ее мужчин, разве к ним кто-нибудь может приблизиться даже на пушечный выстрел, на час ходьбы? Что себе этот замурзанный воображает, смотрит на нее так, как будто она легкая добыча, как будто он все знает. И что за глупость с объявлением, он из автошколы или с Луны свалился, разве вождению можно учить с завязанными глазами, то есть, без предварительного знакомства? Да ей и не нужен учитель, она водит машину с десяти лет, только нос был виден из-за руля, люди крестились и падали в обморок, визжали и прятались под сиденья, так же, как когда поезд братьев Люмьер прибыл на вокзал Ласьота. Нет, дело в том, что в нее въехал какой-то урод, ни бе, ни ме, гнул пальцы, причитал, трус, никак не могла его вразумить, по-человечески договориться, и вот, полиция, и полицейский (она его сто раз лечила) диву давался, как это она столько лет за рулем, а без прав.

Это просто формальность, – говорит Девочка самоуверенно и переключается на первую скорость.

У меня перепутались объявления, – оправдывается инструктор по вождению, но, по правде говоря, Девочке это вовсе не кажется извинением.

Женитесь по объявлению? – вдруг спрашивает она, но уже спустя мгновение ей становится неловко.

Остановитесь здесь, – показывает мужчина. И пока мигает поворотник, он, слишком резво для своих зрелых лет, выпрыгивает из машины, и вот уже возвращается с охапкой газет и с чем-то еще, с сигаретой для астматиков в зубах. Суетливо улыбается Девочке.

Что это у него за акцент, – гадают она, улыбаясь в ответ сквозь стекло. То есть, инструктор складывал фразы правильно, никто бы ничего не заметил, если бы он их просто читал, но если прислушаться, что-то это напоминает. Такой типичный акцент, похож на сильный, приятный, небанальный запах лосьона после бритья, – подумала Девочка, а потом сразу удивилась, как это ей могло что-то подобное прийти в голову.

«Д» – это сокращение для «дурака», – объяснял инструктор, позволяя ей ехать, куда хочется. Поэтому я все перепутал.

А «Красный сигнал»? Девочка показывает на надпись на капоте. Это «не влезай – убьет»?

Ах, нет, – отмахивается инструктор, раскрывая газету. Но красный цвет всегда в моде, так сказать, «эвергрин», – наверное, он намекал на какие-то студенческие беспорядки, о которых писали в газетах, с нажимом, готовый рассмеяться, – то есть, красное – вечно зелено! И, сказав это, опять показал желтые зубы.

Венгр, – подумала Девочка почти вслух, ну, да, слышно же, говорит с иностранным акцентом! Она была счастлива, что раскусила его, разоблачила, словно отомстила ему за ту обнаженность. А если бы она любезно задала ему вопрос, он бы ответил ей вежливо, что его зовут Пал, Блашкович Пал, он говорит мягко, потому что венгр, что спина у него немного сгорбленная, потому что он был сапожником, ну, наверное, спина так и так бы сгорбилась, потому что ему за пятьдесят, как говорится, разменял шестой десяток, у них наверняка есть общие знакомые, потому что это

не такой уж большой город, чтобы удивляться, как тесен мир.

Девочке это о чем-то напомнило, но дело было не в языке.

Возьмите, – говорит Пал, вытерев большое лицо, и протянул ей раскрытый целлофановый пакетик с освежающими бумажными салфетками. Позднее июньское послеполуденное время, еще все раскалено, человек потеет, будь он и флегматик по природе. Девочка снимает очки, кладет их на колени, двумя пальцами вытаскивает из пачки мягкую влажную бумажку, утопающую в духах, разворачивает ее, благодарно утирает лоб, щеки, нос, подбородок, чувствует горечь на губах, думает, что при таком умывании могла бы стереть и черты лица, и машинально смотрит в зеркало заднего вида, на котором висели – кроличья лапка и желто-черный вымпел футбольного клуба.

Свернув газету в трубку объявлениями наружу, Пал пытался выгнать крупную муху, влетевшую через форточку-«бабочку». Я думал, что, если судить по названию, окошко предусмотрено для бабочек, – говорит он, просовывая два коротких пальца вслед за оглушенным насекомым, едва нашедшим дорогу наружу.

Вы ждали женщину по объявлению? – спрашивает она упорно, как могут только женщины, которым что-то важно узнать. – Что, если она пришла, пока мы вот так бессмысленно катаемся?

Она пришла, – произносит Пал медленно, и Девочка заливается краской.

Разве вам не страшно?

Страшно.

Думаю, кто знает, на кого можно нарваться... На какую-нибудь сумасшедшую, например. На чудовище.

А так я в безопасности, хотите сказать?

Девочка оскорбленно поджимает губы. Обещает себе, что до конца урока сукин сын больше не вытянет из нее ни словечка. Пал развалился на сиденье.

Всё один черт. Всегда покупаешь кота в мешке, нет никакого правила, а опыт ничего не гарантирует. Ничто никогда не повторяется, как бы ни выглядело одинаково, сколько ни бей себя по лбу и ни причитай: я уже все видел, я знал, что так и будет. Тут близость ничего не меняет, всё дело случая. Зажмуриться, вдохнуть и вперед.

И то правда, – думает Девочка. – В этом что-то есть.

А чем сударыня занимается?

Я врач, – отвечает Девочка и прикусывает язык.

А я врачам совсем не верю, – опять улыбается Пал. Как-никак, это был человек, который приятно улыбался.

Иной раз, когда слышат, что я врач, то сразу высовывают язык, показывают на то или другое место, жалуются, что давит, простреливает, покалывает. Счастье встретить кого-то, кто не суется, – Девочка смотрит на него искоса, вложив при этом в последнюю фразу изрядную дозу иронии. Мужчина кивает головой.

Главное, чтобы при возждении работа вас не отвлекала. Я, например, обучал одну монахиню, так она едва не задавила пешехода, который переходил улицу, потому что молилась с закрытыми глазами... Не будь дублирования управления, я бы из-за нее сел в тюрьму.

Врете, – прыснула Девочка.

Не вру, – отвечает Пал холодно. – Я просто пошутил.

Я и не думала... – Нет, правда, и я перегнул палку.

Пал посмотрел на часы.

Свернуть на бульвар? – снисходительно спрашивает Девочка. Пал пожимает плечами, как будто чужой в этом городе.

Вы действительно хорошо водите.

Не как женщина? – слегка кокетничает Девочка.

Не уверен, что у автомобиля есть пол, мне он скорее кажется гермафродитом.

Я имела в виду разговоры...

Ай, бросьте... Кто в своем уме в это поверит? Знаете, как еще говорят? Белградский водитель – нахальный, но у него есть рефлекс. А те, с румынскими номерами, похожи на коров, которых время от времени оводы покусывают под хвостом...

Не забывайте, что коренной житель Сараево из всех дорожных знаков соблюдает только звуковой сигнал. Кто первый просигналит, у того и преимущество...

Наш же человек едет ровно и бесстрастно, без комментариев, как будто цитирует правила дорожного движения.

Да, это почти наука.

Где вас посадить? Урок окончен.

Как, уже? – выдает себя Девочка. – Я хотела сказать, что люблю водить. Я даже не заметила. Поехали на улицу Патриарха Чарноевича, я сделаю вам кофе.

Вы хорошо водите, мне нечему вас учить. В уроках нет необходимости.

Но как же. Я ведь уже заплатила... Здесь я живу, за этим каменным забором.

Как скажете. Тогда завтра? Тогда и кофе выпьем. Я спешу.

На randevу? Еще одна дожидается, таинственная, как шифр?

Можно и так сказать. Я спешу к своей жене. На кладбище.

Интенсивный запах цветов, которого Девочка не замечала, сейчас вдруг сдавливает ей горло и затыкает рот. Инструктор ужом перебирается за руль и, не говоря ни слова, газует. Девочка остается на дороге, пристально глядя на вдовье обручальное кольцо, – чтобы снять его, нужен килограмм мыла.

Пал едет медленно. Он хорошо знает этот район, когда-то жил поблизости. Через дорогу. С тех пор как не стало отца, в его доме. Хороший дом отец поставил, занимаясь извозом. Отец его, Михаль, переехал в Телеп, старый венгерский район, знал венгерский, как родной, в старости часто вставлял какое-нибудь венгерское слово, желая выразиться точнее, как будто у него язык опухал от жары, и сербский был ему тесен. Все-таки, если слушать, зажмурившись, могло показаться, что в этом смятом венгерском акценте (похожем на бабье лето) есть какой-то порыв. Однако он ненавидел мадьярство, – потому что я знаю их, как облупленных, – говорил он, – ненавижу их неприметную, тихую силу, проглатывающую других, слабые нации, переваривает она их, как гигантский земной желудок.

Пал Блашкович оставил автомобиль на улице Чехова, сигарету погасил на тротуаре, пропуская велосипед без фары, который возник из темноты, как маленький кошмар для близоруких, а потом затерялся между могилами.

Картежники

Коста не знает, что сказать. Он что-то ощущает на губах, что легко можно было бы назвать поцелуем женщины. Девушка, про которую он думает, что знает ее, с пакетами, полными образцов косметики, нетерпеливо ему говорит: давай, пошли, что с тобой, и тянет его внутрь. И что он сейчас стоит? Это ее небрежное прикосновение больше всего похоже на какой-то забытый вкус, когда губы, склеенные собственной слюной от долгого молчания, наконец, отклеиваются одна от другой и чувствуют дуновение ветра. Почему у меня все так сложно, — думает он, и как робот идет за девушкой. Разве все настолько непонятно, или это я, черт возьми, скверный интерпретатор самых простых земных вещей?

Если хорошо подумать, в этом не было никакой эротики, словно на его губы слетел бесстрастный ангел, оттолкнулся ножками, отлетел от какого-то счастливца. Так друг с другом целуются женщины. Он в этом не видит ничего особенного. Как рукопожатие. Ведь тебя же не пробирают мурашки от каждого телефонного разговора, ты не переживаешь его, как любовное поглаживание уха дыханием и языком, тем более, если ошиблись номером. Надо что-то сказать? На чей авторитет опереться? Все эти древние легенды, мифы, фрески, рассыпающиеся в прах, стоит только вскрыть гробницу. Никто больше ничего об этом не знает. Все закрывают окна, опускают жалюзи, зажимают сердечные клапаны, спасаясь от живучих вирусов, от лабораторных тайн, передающихся из уст в уста, люди защищаются от жизни, которая больше не для нас.

Жизнь принципиально отличается от любого искусства, от всего, что я видел, – приходит к выводу Коста, ощупывая стену в поисках выключателя в темном коридоре с грязным световым люком. Например, где ты мог увидеть Бюро потерянных вещей, Армию Спасения, Общество анонимных алкоголиков, золотой прииск, судебные предписания на полицейский обыск дома, – только в рассказе, который раскрывается, как зонтик. Эх, что же ты за человек! Ты так уповал на какой-нибудь тайный знак, а сейчас не знаешь, что с ним делать. Ведь вы уже здесь, в своей комнате. (Как мало надо, чтобы челядь почувствовала себя собственником!)

Любовь, ах, любовь, но ему немного не по себе от того, что девушка так равнодушно, так отсутствующе стоит на этом коврике, как дикарь или варвар, которого застали у разоренной могилы. А ковер, разумеется, поврежден огнем, вчера вечером, когда он тут вынюхивал, то засовывал пальцы в дыры от сигаретного пепла или угольков, выпавших из топящейся печи, но, скорее, от того, что потихоньку можно было бы назвать настоящим пожаром некрофилии, маленьким домашним извержением вулкана (от которого во все стороны прыгают лягушки из расплавленного золота). Он стирает рукой пыль с опрокинувшегося стула, указывает ей пальцем на край кровати, нервно призывает ее взглянуть на собственный двор, на маленькую могилку, которая уже выглядела как живот спящего, на лабиринт нашей повседневности (ему в голову приходит эта псевдопоэтическая неловкость), но Мария, как заколдованная, в туфлях, которые топчут все подряд,

стоит, стоит на его коврике (на котором мило угасают цвета) и отбрасывает тень на сумасшедшую, тайную любовь Косты.

Но зачем, ей-богу, столько говорить о несчастном коврике, – спросила бы Мария, если бы знала, что в этом суетливом человеке происходит, разве речь о реликвии, воспоминании (о первом акте любви, будем бестактными), он, что, маскирует пожарную лестницу, вход в тайную могилу или портал в искусственный мозг, что может скрываться в сердце одинокого мужчины?

У Косты отлегло от сердца (и у всех, у кого есть душа). Мария направляется к столу, на котором бумаги и тетради составляют портативное, безымянное созвездие, и так, стоя, листает, почитывает, время от времени останавливаясь, облизывает указательный и большой пальцы, переворачивает загнутые страницы, ему это немного неприятно, но что делать, когда-то надо и промолчать, выбрать меньшее зло, он уже склонился к коврику и бережно его сворачивает, время от времени похлопывая ладонью, чтобы свернуть ровно, и когда коврик полностью свернут и усмирен, этот длинный предательский язык, явно довольный достигнутой непостижимостью, Коста заталкивает его под первый комод, чихает, от аллергии на пыль (это мы уже видели), трет нос, выпрямляясь, отряхивает ладони, и поскольку Мария Ш. оставила его бумаги в покое и теперь одним пальцем наигрывает какую-то детскую песенку на стоящем рядом расстроенном беззубом пианино, то Коста превращает пантомиму пустых рук, довольный, что все как-то разрешилось, в слишком громкие, воодушевленные аплодисменты, но девушка, до того сиявшая, пово-

рачивается к нему с ледяным изумлением и, поморщившись, с треском опускает крышку на клавиатуру.

Что ты так взвился из-за этого старого ковра, словно он твой?

Неужели все так заметно, – подумал Коста и оцепенел. Прячет взгляд, делая вид, что ничего не слышал. У него чувство, будто он находится в воде. Потому что он стыдится своей веры. Если бы он заподозрил, что Мария что-то знает, то провалился бы сквозь землю.

Коста молится Богу, бьет поклоны, что-то себе воображает. В безумной смеси религий, в отчаянии. Он и сам не понимает, что это такое. Но это порок, точно, мания, отклонение. Он уверен, что в этом нет никакой связи, ни с какой церковью, ни с кем. Здесь нет соприкосновений, это принадлежит ему, и это самая тяжелая работа отшельника. Если бы он попытался облегчить свою ношу, довериться, то его бы это, наверное, убило. Однажды его застали врасплох и высмеяли. Это было давно, свечи зажигали тайком. Его посчитали обычным набожным дурачком, хотя кто-то оказался и на его стороне. Но он укрылся с головой одеялом, глотал слюну, ждал, что все пройдет. Никто его не мог понять. Это не значит бить поклоны и завывать, за что сейчас хватаются все, надеясь обрести равновесие. Это что-то, чем нельзя поделиться, как мастурбация. Он не может об этом сказать никому, даже Марии. Его молитв не существует, он просто отдается потоку аритмии своего сердца. Его обряды – это фрагменты, еще из детства. Но, нет, Марии – ни в коем случае, ни словечка. Его Бог – это не любовь, хотя он преклоняет колена, соединяет пальцы. Ему не близок и Всемогуший, к эпилеп-

тическому пресс-секретарю которого приближаются зеленые холмы. Но он опять кланяется, смотрит в свои ладони и скандирует со стоном, на килиме, который Девочка, бог знает когда, привезла из Сараева. Он заметил, что с недавних пор стал лысеть. Иногда, глядя в зеркало, он пересчитывает оставшиеся волосы, как страдающие бессонницей – сексуальных овечек. Скоро он станет лысым, как лампочка, как Будда, говорит он равнодушно. Но кто знает, каким он станет.

Килим он обнаружил вчера вечером. Опустился перед ним на колени, всматривался в едва различимый узор. Его охватывали поочередно то тоска, то радость. Всегда так было: он терял себя. Минут пятнадцать он тонул в небытие. То был он, если у него было имя.

Разве о таких вещах можно говорить? Любой бы сказал: он сектант, чужак, лунатик. Мария бы наверняка ушла, а она еще и не пришла. Я нормальный. Это просто что-то, что проходит сквозь меня. Какое-то выделение, ночной кошмар, лихорадочный бред, короткая, мимолетная смерть разума. Это совсем неопасно, я хочу людей. Марию.

Я надеюсь, что этот килим чего-то стоит, – солгал он.

Стоит? Для какого-нибудь мусульманского мутанта? – Девушка усмехнулась, пряча губы. В этот миг она склонилась над музыкальной шкатулкой, чудесное произведение искусства резчика, и небрежно открыла ее. На дне шкатулки, из которой донеслись прерывистые звуки анонимной лирической прогрессии, крутилась одноногая балерина, в копиях, потому что внутренние стенки были облицованы тонкими зеркальцами, с неподвижным лицом, без выражения, которое не выда-

вало ничего, кроме небытия. Коста видит шею Марии, подобную стеблю подсолнечника, ушную раковину с кисточкой сережки, полученной по наследству, часть глаза, подбородка, носа и шевелящихся губ, потому что она их прикусила. Сейчас подходящий момент, этому поможет и похожая на водопад музыка, капельки которой можно собрать в горсть и поднести к губам, сейчас, сейчас. И, подойдя к ней со спины, он действительно пытается, но в последний миг девушка ускользает, его поцелуй звучит в пустоте, а это легко можно сравнить с тем, как танцующие танго прищелкивают пальцами, как на фотографии, что, покосившись, висит перед ним на стене.

Ты что-то хотел?

Поцелуй, – признается он, – без веры.

Иуда, – вскрикнула девушка. – А с чего бы нам целоваться?

Послушай, – Косте трудно было сразу придумать адекватный ответ на ее ядовитый вопрос, и он молчал, убрав руки. Красивая брюнетка, с волосами, собранными в пучок (которого словно вождедали чьи-то пальцы) навсегда перегнулась, махнув развевающейся юбкой, через мускулистую левую руку партнера. На ее запрокинутом лице отражалась страстная боль, но не было заметно, что она, запыхавшись после бури танца, так неуверенно зажмуривалась уже не меньше пятидесяти лет, с момента, когда ее сфотографировали, может быть, она косила, может быть, соринка попала в глаз, может быть, она любила флангиста, может быть, умерла той ночью, кому до этого есть дело, кроме Бога. А ее партнер, недавно упомянутая трещотка, гладко приче-

санный вулкан, перебирающий ногами в степе, стоял, навечно напряженный, в узких тореадорских брючках, как памятник своему краху, парализованный, незавершенный.

Мы целуемся, – говорит Мария Ш., отводя взгляд от картины, – неважно, мы и так все больны.

Она прижимает свои губы к губам молодого человека и замирает так, с открытыми глазами, не разжимая губ. Вдруг, резко, так же, как и начала, Мария отодвигается от него, поправляет картину в увядшей раме, но та опять соскальзывает вбок.

Видишь, все это – музыкальную шкатулку, этот твой ковер-самолет, это, это, это – все это Девочка привезла из Сараева, осталось от мужа. Она тебе еще не рассказывала? Не беспокойся, не увернешься. Пианино, секретер, кресло-качалка и разные мелочи в сундуке были его, – Мария показывает на гипсовый бюст юноши, с глазами без зрачков. Это Миле Йованович, ее обожаемый брат, хирург, который глупо погиб, за Бога, которого нет. Бюст работы Богдана Шупута, его близкий друг, тайная любовь Девочки, голову даю на отсечение, я же женщина. Его же и мольберт, кровать, на которой ты спишь, и все, что с этой стороны. Единственное, не могу найти следов ее последнего мужчины. Наверное, она это держит где-то под замком, не хочет об этом рассказывать. Но, может быть, тебе проболтается, ты ее биограф, новый человек, единственный живой среди мумий и фетишей... Что ты сразу скусился? Ничего она тебе не сделает, она не ест маленьких мальчиков. Впрочем, ты полностью вписываешься в ее девичью концепцию. Ты писатель, ты Гамлет, вышаги-

ваешь по комнате, когда размышляешь, ты аскет, Аполлон. Вы все в одном мешке: профессор анатомии, за которого она вышла замуж, поляк, который был старше ее отца, брат, нежный, как Алеша Карамазов, трепетный Шупут, который прячется в тени, ты, поэт... От всех этих изысканных одеколонов отличается тот, один, ты не согласишься, какого-то инструктора по вождению, наверняка деревенщина и приезжий... Но похоже, каждой женщине, будь она хоть игуменья, время от времени в доме нужен мастер.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (II)

ТАМОЖЕННАЯ УЛИЦА В НОВИ-САДЕ

– холст, масло, 56 x 70,5 –

Рассказ о слабости

Я в аду, – бредит Богдан и мечется во сне. Он без сознания.

Что он говорит? – озабоченно спрашивает отец, тряхая с рук капли ракии, которой смочил платок. Локомотив свистит, сквозь щели в оконных рамах врываются гарь и дым. Больной девятилетний мальчик мечется у матери на коленях, одна голая нога в расшнурованном ботинке скребет по полу, вторую он поднял на деревянное сидение поезда, навсегда увозящего семейство Шупутов из Сисака. Мальчик дрожит, когда холодными салфетками ему протирают ладони, вены на шее, лоб, иногда он приходит в себя и видит лицо матери.

Мы не должны были выезжать сегодня, – Прока Шупут укоряет себя, заламывая пальцы.

Кто мог знать, – утешает его жена и накрывает мальчика какой-то курточкой, мальчик теперь сильно потеет. Время от времени он открывает глаза, слышит звуки поезда, с облегчением вздыхает, я дома. Но потом опять начинает сильно дрожать, он хотел

бы встать, побежать, но словно чем-то опутан, как Гулливер в Лилипутии, видит братьев и отца, удивляется, почему они не бегут, а смотрят на него взглядом, который Богдан никак не может понять. Я в аду, — думает он смиренно, — а они смотрят на меня через стекло. Он засыпает под землетрясение.

Не случись эта внезапная летняя лихорадка, он бы радовался. Старухи в широких юбках сточенными ножничками чистят яблоки у себя на коленях. Старики курят, негромко разговаривают, с незнакомыми, как это обычно бывает в поездках по железной дороге. (Кстати, Богдану все, кто старше тридцати, кажутся стариками, поэтому определения, связанные со временем, следует принимать с оговоркой). Дети, ах, дети, сосут пальцы, смотрят в грязные окна, просят то еды, то воды, играют в считалки. Он еще мог бы увидеть, как с головокружительной быстротой меняется ландшафт, картины вырастают, становятся плоскими, солнце отстает, небо потихоньку меняется, словно имя его произносится на разных, но родственных языках.

Однако Богдан спит, ничего этого не видит, разве что сон его прозрачен, во что не верят и самые смелые. К счастью, дышит он ровно, и отец может пуститься в разговор с попутчиками, чтобы прогнать из живота комок, вызванный затаенным страхом нового города, в который его перевели, новых лиц и новых возможностей. И братья Богдана все более возбужденно перешептываются, планируя что-то, скрывая свои желания. Только Эвица молчит, гладит мальчика по темным волосам, обманывает дрему. Ей хотелось бы яблока. Жалеет, что отказалась от кусочка, протянутого на

острие ножа, что недавно предложила разговорчивая крестьянка. Но все-таки берет протянутую мужем фляжку и мелкими глотками пьет тепловатую воду. Равнодушно смотрит в окно на нескончаемую равнину, монотонность которой вызывает у нее какую-то нервозность. Она когда-нибудь закончит свой рассказ? – глядя на губы женщины, Эва задается про себя вопросом. Мальчик открывает глазки удивленно смотрит. Рубашка еще влажная, ему зябко, когда он откликается на слова матери, – посмотри, Богдан, подъезжаем. Поезд замедляет ход, дома стоят все теснее, с насыпи машут дети и показывают языки.

Мы в Нови-Саде, – повторяет Прока возбужденно, делает замечание старшим сыновьям, чтобы не шумели, тормоза скрипят, Эвица ладонями зажимает уши. Боник приподнимается на локте. Он ослабел, и через пороги отец переносит его на руках.

На улицу Таможенную, 9, велит он извозчику, а мальчики едва поспевают за ним, волоча картонные чемоданы. Извозчик прищелкивает языком, погоняет одров, полумертвых от зноя. Аллур освежает путешественников. Железную дорогу уже проглатывает даль.

Значит, это ад, – смиряется Богдан, прижимаясь к матери, которая поправляет узел на его развязавшемся галстуке-бабочке.

* * *

На Таможенной улице семейство Шупутов задержится ненадолго, пока не устроятся, «но куда же сразу к чужим людям с больным ребенком», у родственника Опсеницы, нови-садского торговца. Это и сей-

час приличное двухэтажное здание, на углу, который делит улицу на два проезда, поэтому из конца в конец увидеть ее нельзя, хотя она относительно короткая. Именно здесь в Таможенную улицу вливается Мадыарская улица, где позже, в ближайшем соседстве, Шунпут снимет ателье.

Спустя много лет, находясь на втором этаже вот этого приличного дома, Богдан напишет две картины: одну с видом на синагогу поверх плоских крыш, и вторую, с видом на Футошскую улицу, где твердеет небо, и слышен цокот копыт по горбатой брусчатке.

И именно в этом окне с панорамой, на этой щедрой смотровой площадке стоит Богдан, еще маленький, босой, в длинной ночной сорочке, достающей до тонких щиколоток, и смотрит на улицу, спрятавшись за тяжелой портьерой. Окно чуть приоткрыто, и он может слышать детей, которые выкликают друг друга по именам (он вполголоса их повторяет: Эдвард! Гизела! Милош!)

Эй, Богдан, – ему кажется, что он слышит свое имя и встает на цыпочки. Его тетка подбегает и включает-ся в игру, правил которой наш малыш не знает. Сталкивается множество языков, но мальчик возражает, когда узнает тот один, венгерский, сжимает ножки, потому что от страха почти описался. Прока и Эвица тайком наблюдают за ним. Давно уже надо бы выздороветь, все симптомы исчезли, но только вдруг, казалось бы, беспричинно, утром или под конец дня, таинственным образом поднимается температура, которая удивляет и доктора Теодора Йовановича, «замечательного человека», к которому их направил кузен Войо.

В умиротворяющем свете сумерек врач долго и бесстрастно (если бесстрастным можно назвать печать напряженного внимания и обостренного ожидания на его лице) прослушивает голым ухом легкие мальчика, заглядывает ему в горло, прощупывает какие-то железки. Прока стоит в полутени, вертит в руках шляпу, мнет тулюю. Доктор, наконец, выпрямляется. Прока не может понять гримасу, которая искажает лицо ученого человека. Господин доктор садится за свой стол, переворачивает страницы толстой книги, читает ее, облокотившись на собственную тень, долго, можно было бы сказать, что он уже забыл о присутствующих.

Богдана ужасает череп, который скалится на него со стола. Но это пугает любого чувствительного ребенка девяти лет, и мы махнули бы на этот страх рукой, если бы в кабинет не вошел ровесник Богдана, тихо сел на стул, который – вот диво дивное – может вертеться. Стул круглый, без спинки, как сидение какого-нибудь циркового автомобиля, стоит совсем рядом со столом, совсем близко к черепу, которого мальчик как бы не замечает.

Миле, сиди спокойно, – говорит господин Йованович, водя пальцем по строкам, и мальчик послушно останавливается. – Я не нахожу ничего подозрительного, а что касается температуры... Разве что сердце у него немного великовато для такого маленького тела. Но это вопрос конституции, перерастет, все наладится.

Он опускает раскрытую ладонь на грудь Богдана, и эта рука, поросшая золотистыми волосками, начи-

нает слегка подпрыгивать, как будто под ней что-то бурлит. Подходит к Проке, мягко берет его под локоть, говорит приглушенно и доверительно.

Послушайте, это вопрос не тела, а души. У него какой-то ком в горле. Что-то его душит. Не знаете, что?

Мы здесь новые, – говорит Прока, вдруг слишком громко, а потом шепчет, – мы недавно приехали из Сисака.

Вот, видите. Для малыша это нагрузка. Присматривайте за ним, но ему нужно общаться. Он забудет. О болезни надо забыть.

* * *

И вот теперь Богдан стоит, зажав ноги, трущиеся одна о другую, стоит у окна, которое открывается с трудом. Он стоит спиной к Проке и Эвице, делающих друг другу страшные глаза, в опасении, что он опять постыдно играет со своим собственным телом. Богдан, – откашливается отец, – хочешь на улицу, к детям?

Нет, папа, у меня где-то болит, – он возвращается в постель и укрывается с головой.

А с нами не хочешь поиграть, братик? – неохотно зовут его старшие мальчики, выполняя отцовский приказ.

Да, – оживает малыш, – но завтра.

В комнату заходит Вуйо Опсеница, неся в руках бумагу для рисования и цветные карандаши, которые он взял в своем магазине. Мальчик сияет. В тот же день на коленках он нарисует голый череп Пала. А потом сотрет его и нарисует свой. Кто-то скажет, что они

идентичны. Но Богдан их различал. Это был его череп. Своего рода автопортрет. Ну, вы меня понимаете.

Вид с Банстола на Дунай

Я вижу, ты пишешь, – говорит Мария, поднося к лицу исписанный лист бумаги. Коста было заговаривает, но словно теряет силу, слабеет, и стоит такой, меньше эритроцита.

Мария кладет страницу обратно в пачку, очевидно, не сумев ничего разобрать: это она, да? Коста кивает.

Что теперь будем делать?

Что? Нам надо открыть ту дверь. Там, в той комнате ключ ко всему.

Мария достает из лифчика сложенный в несколько раз лист бумаги, движением кафешантанной певички или обычной профурсетки. Молодой человек смотрит на нее с изумлением. Кто она на самом деле? – думает он, – похоже, я ничего не вижу (у меня только иногда раскрываются глаза), ослеп от наваждения: кто я, кто я.

Все вы ничтожества, – он слышит, как кричит пьяный беженец, он идет от двери к двери и колотит по ним коробкой, в которой позвякивает мелочь. Но Косте сейчас не до пересчета и проверки, потому что Мария уже разворачивает ту бумагу с прозрачными краями (как карту с обозначением зарытого золота), показывает ему пальцем на какие-то имена, даты, технику, размеры. Сначала он плохо понимает список (словно ему надо обнаружить метафизическое значение списка покупок в лавке колониальных товаров), здесь есть масло и гипс (и даже уголь), и, вообще, Коста довольно-таки

рассеян в последние день-два, он, ей-богу, не привык к такому количеству новостей.

С левой стороны, – слышит он голос Марии, как будто издалека (голос усиливается, обморок, легкое помрачение проходит), – известные работы, из музеев, галерей, частных коллекций. Здесь, в середине, список тех «шупутов», которые в собственности Девочки, точнее, тех, которые, как предполагается, погибли в том страшном пожаре. А от этого я ожидаю чего угодно. *Женская работа, Ожерелье Мадонны, Запретный город, Рассказ о слабости, Спящая Девочка, Обнаженная Девочка* – все это названия неизвестных произведений Шупута, которые я восстановила, роясь в его письмах (он писал их, как ненормальный, всем), уже сейчас гарантирую, что будет открытие, оно представит его в совершенно ином свете, по сравнению с устоявшейся историей о лирическом экспрессионисте в путях социальных мотивов. Это будет Шупут мечты, это будет его *poésie brute*.

И все это за той дверью, или где-то здесь, – Мария широко проводит рукой, подняв голову, словно принимаясь.

Перед Костой был таинственный каталог картин, он выглядел, как затертое меню несъедобных блюд. Может быть, это любовное письмо, только к нему нужна книга кодов? Мария молча протягивает руку и аккуратно складывает список. Приостанавливается, словно не знает, куда деваться, и, подождав немного, застегивает пуговицы, спрятав глубокую пустоту между грудей, он, вздыхая, поцокал языком. Она одной рукой поднимает вверх волосы и становится похожа на мгновенную зарисовку.

И где нам взять топор, – прерывает Коста ночную грёзу. – Предположим, я украду у старухи ключ, что тогда делать с картинами, если они есть, и с ней? Надо ли мне где-то добыть топорик, – насмешничал он, корча ледяные рожи.

Марии начинает казаться, что от него не будет толку, просто придурок, со случайной фамилией Раскольников, она запускает ручку инфанты (которую уродовали обгрызенные ногти и неопрятные лиловые заусенцы) в мешок, который лежит на полу, как большое разоренное гнездо, и достает из него шестигранный флакон, поворачивает его к свету и заговорщицки подмигивает. Коста хотел прочесть то, что с боков было написано золотыми буквами, но этот угловатый алфавит ему неизвестен, а буквы словно стараются растрепать пучок солнечных лучей, это было так легко, и он просто моргал в ожидании, в бессилии.

Она любит, когда я ее крашу, ты видел. Я всю ее вымажу этой краской, которая забьет ей поры. Она умрет от удушья во сне, так казнили в Древнем Риме, – доверительно шептала маленькая отравительница, ночная сестра Борджиа, и никто не мог бы поклясться, шутит ли она, или убийственно серьезна.

Пойдем, – тянет ее Коста нетерпеливо, у него начинается клаустрофобия, только бы выйти из этого помещения, – пойдем вниз, я попробую еще раз, проволокой, плечом.

Не получится, – говорит Мария и садится к нему на колени, чтобы быть ближе к его страху, к угрызениям совести, продолжать нежно мучить его, – она обычно в это время возвращается, не стоит начинать, застанет

нас наверху. – Я слишком слаб для всего этого, – мелькало у Косты Крстича в голове, когда он тонул в убаюкивающем величественном аромате, он чувствовал, что девушка на него давит, сминая его, чтобы он не смог перенести ее через порог дома. Я не для жизни, так он себя меланхолически уверял, и она, конечно же, может слышать мое бедное сердце.

Что ты ерзаешь, я слишком тяжелая?

У меня затекают ноги, – признается наш муж, не мальчик. – Подвинься чуть-чуть. Но Мария уже встала и потягивалась на свету. Наверное, она меня презирает, – жалел себя молодой человек, все бы отдал, чтобы узнать, о чем она сейчас думает. Однако девушка молчала, по ее лицу ни о чем нельзя было догадаться, водила пальчиком по пыльным часам, круглый циферблат которых одноглазо тарашился с комода. Теперь он все внимание устремил к той, теперь уже старой газете, раскрытой на странице объявлений и частично еще сохранявшей форму трубки. Но ее не привлекает ни одна из тщательно выверенных приманок, *тонкий интеллект-уал-полуалкоголик*, тот, что обещает, что *ремонтирует всё*, кто-то, дающий займы без ограничений, еще один, обеспечивает гейш для сопровождения, или еще один, предлагающий визы в рай, ничего из этого Мария не видела, из-за мелкого шрифта или из-за своей идефикс, мы не знаем, но она уже уткнулась ногтем (или тем, что от него осталось) в соседнюю страницу, почти проткнув ее насквозь. И как она хохотала и глумилась, показывая пальцем на фотографию ни в чем не повинного покойника, там, где шли друг за другом некрологи! – Ну, надо же, умер и сам Чкаля, и ты припоминаешь все его

«а-а-а» и «бе-е-е», – но все равно нехорошо над этим «с печалью сообщаем», над этой маленькой картой могилы, так безобразно разевать пасть, – думал Коста, отодвигаясь с негодованием, а она всё подсовывала ему под нос газету и показывала на мужчину, который, он мог бы поклясться, не был даже местным комиком. Лицо покойника не выдавало в нем душу компании, фотография была с удостоверения личности, хорошо были видны водяные знаки в уголках, человек был в годах, очки, глубокий пробор с правой стороны, и он мог быть кем угодно. Может быть, дело в патетической позолоте текста, – предположил Коста, а дамочка прямо задыхалась, но беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, – это обычное сообщение о времени и месте похорон, без тоскливо-смешных апострофов, к которым склонны очевидцы. Наконец, смех девушки превращается в гримасу, которой она заканчивает эту историю.

Я недавно встречалась с этим человеком. Нас было несколько писателей, это была экскурсия в виноградник Девочки, ты еще о нем наслушаешься, можешь мне поверить. Тебе известно, что Девочка решила завещать две виллы с участками нашему обществу писателей. Понятия не имею, к чему такой великодушный, и, согласись, глупый жест. Так или иначе, она меня пригласила, сообщила, я сказала этим, в правлении, и вот, представь себе, я, и еще двое, пробиваемся сквозь заросли, пустыню и девственный лес. Виноградник с незапамятных времен принадлежал ее семье, а находится он на выезде из Сремски-Карловцы, прямо у подножия Банстола, там еще какая-то колонка. Направо подни-

маешься в гору, слева Дунай, за железной дорогой, но и тут надо повернуть влево, пройти метров двести по насыпи, и вот – ворота, скрипят, как живые. Эти наши решили, что здесь будет дом творчества, для писателей или художников. Виноградник многое повидал, с тридцать четвертого и до самой войны, каждое божье лето сюда приезжал Богдан Шупут, припоминаешь, любимчик Мило, подышать, подкормиться и поработать.

Девушка быстро разворачивает список работ Шупута, постукивает подушечкой пальца по той, *Карловацкий виноградник Йовановичей*, рядом с которой было примечание «сгорела в пожаре», и качает пальцем.

Нет, нет. Есть виноград, сорта сланкаменка-пловдина, мускат гамбургский и потрогизер, есть «ядовитый француз», «козье вымя», еще какие-то, все нетропическое. Но этот маленький буржуазный рай, где бедняга Шупут получал свои подачи и отвечал на приторно-унизительное гостеприимство картиной-другой, от которой господин доктор, не удосуживаясь дожидаться, когда Богдан отвернется, отмахивался и морщился, ожидая, что юношеский меценатский порыв его сына, наконец, иссякнет, и он твердой рукой возьмется за скальпель хирурга, избавляясь от лишних аппендиксов, зашивая выпавшие грыжи, осененный, разумеется, иконой Св. Георгия, который хмуρο царил в операционной их частной клиники, где отдали концы многие видные горожане Нови-Сада, так вот, этот виноградник, подслащенный дубликатом Чехова, был местечком для наслаждений, это точно, тогда, в тридцатые (мне Девочка все уши прожужжала), но теперь это была даже не тень тени, с ветхими домами, из пола которых

пророс бурьян, с одичавшей лозой и непролазными зарослями, с необозримыми тучами комаров, взлетающими с перегретой реки. И, что еще хуже, над именем взгромоздилась официальная мусорная свалка, словно какой-нибудь Молох, по которой ползают оборванцы, как у Пазолини. В дом из красного кирпича (тут когда-то жил смотритель виноградника, служивший у Йовановичей) вселились какие-то беженцы, которые сначала спустили на нас собаку, а потом замучили своей жалобной историей. Второй дом едва сумели открыть, сломав висячий замок, а потом чуть не задохнулись от вони, там оказалось что-то бесформенное, может быть, кошка провалилась через крышу или дымовую трубу и бесславно скончалась посреди комнаты. Под верандой мы нашли свежий холмик и полчаса обсуждали, что нам делать, безобидное ли это дело, или полицию вызывать, а тут как раз и беженцы к нам опять привязались, но это отдельная история.

У меня от всего этого разболелась голова, да еще комары так постарались, что я опухла до неузнаваемости, чесалась так, что хотелось нырнуть в Дунай или содрать с себя кожу, и я принимаю решение закончить с инспекцией, в конце концов, свое дело я сделала, оставляю членов комиссии с этими человеческими руинами, разумеется, всегда найдется бутылка ракии, которая никому не противна, а я отправилась домой, смазывая комариные укусы дико дорогим одеколоном (только он у меня был с собой, как образец), потом долго плакала, когда получила счет. Прошла мимо всех отбросов не дыша, затыкая горлышком флакона то одну ноздрю, то другую, миновала всех фовистических псов, которые

подло скалились (я использую старый трюк: наклоняюсь к земле, как будто поднимаю камень, и это срабатывает), и, наконец, выхожу на асфальт, на царскую дорогу.

Нигде ни души, до автобусной остановки – о-го-го. Что делать, иду за поворот, и вижу – у колонки человек. На это я и надеялась, чтобы не идти по пустоши. Он открыл дверцы машины, наверное, умылся, протирал знак Д на ветровом стекле, полулежа на сидении, босые ноги выставил наружу, а носки в ботинках поставил перед дверцей, если внезапно машина тронется, то он их забудет. Судя по всему, вахлак, но не по лицу, лицо приличное, щеки выбриты, до мальчишеской гладкости, ногти-то стрижет щипчиками, а потом без конца их подпиливает, вижу, что умеет повязать галстук. Я хочу подойти к воде, и мне будто бы трудно обойти лужу, натекающую из колонки, он говорит, убирая ножичек и пряча в карман кусачки: сюда, барышня, здесь пройдет. Улыбаюсь, подставляю руки под холодную воду, спрашиваю, а вы не в Нови-Сад, попив и вытерев подбородок. Не пейте эту воду, ни в коем случае, говорит человек озабоченно, ходит желтуха. О, говорю я и прикрываю рот ладошкой. До Нови-Сада, конечно, можно и дальше, если возможно, будьте любезны, а сам поднимает замочек, слегка, двумя пальцами, как будто теребит за ушко именинника. Сажусь рядом с ним, я прямо счастливая женщина, принимаю предложенную *lucky strike*. Чем дама занимается, спрашивает господин вежливо, без иронии или заметных задних мыслей, все в порядке. Пишу, отвечаю. О, это моя давняя, безответная любовь, говорит он, но можно ли на это жить? Не

будем себя обманывать, невозможно, я продаю вот такие вещички, отвечаю ему, показывая тушь и тени. Сегодня мы все, в силу обстоятельств, любители. Знаете, поэзия больше никого не интересует, по крайней мере, до такой степени, чтобы купить и читать. Когда-то, говорят, у писателей была аудитория, но теперь ее нет.

Думаете, писателей поглотил ледниковый период, – вежливо говорит шофер, переключаясь на третью скорость, потому что мы двинулись в гору.

И тогда, – я продолжаю, ухватившись за рукоятку над головой (желудок у меня поднимается вверх, как в самолете), – тогда их читали только критики, и эта секта быстро испарилась. Они думают, что их жизни кого-то интересуют и бешено пишут автобиографии. Литература, кому это надо?

Мне, например, – человек просто огорошил, а мы уже проезжали мимо церкви, где, как говорят, замерзли насмерть турки и так проиграли какую-то битву, как динозавры из Лилипутии. Но времени на антропологические рассуждения не было, мы уже въезжали в Петроварадин. По улице Прерадовича спешили к старому мосту. Остановились на светофоре. Из «Ружи» тянуло дымком гриля.

Интересует? Что-нибудь для вашей милой? – я не видела обручального кольца, короче, стала горстями предлагать образцы косметики.

Нет, спасибо, я холостяк. Я имел в виду какое-нибудь ваше стихотворение, – просит он, а мы уже ехали по мосту.

В иных обстоятельствах я едва бы дождалась, ты же меня знаешь, будь все немного иначе, я читала бы

ему стихи до самой окраины города, наконец, вот приятный, заинтересованный человек, а не только бородастые циники и бессмысленные философы. Но я почти закричала: остановитесь здесь, остановитесь, как только мы спустимся с грунтовки. Спасибо вам, огромное спасибо, но я не помню своих стихов.

В другой раз, говорит человек печально, если мне не показалось. Но я уже выходила и неслась к парку, глубоко дыша. Села на скамейку, на которой дети давно вырезали свои увядшие имена.

Ты смотришь на меня изумленно, спрашиваешь, почему не будет другого раза. Рассказчик из меня никакой, не могу больше держать тебя в неизвестности. Слушай.

С момента, когда я села в машину, и следующие пятнадцать минут поездки и приятного разговора, к которому стремится любой нормальный человек, я ощущала такую ужасную вонь, что несколько раз едва не выпрыгнула из автомобиля, как каскадер. Думала, что это от свалки. Закрываю окно, а оно еще хуже, словно мой сладкоречивый хозяин обкакался. Начинаю дышать ртом, не дышу по минуте, пока молчим, или пока он говорит. Освободившись от напасти, передохнула, сидя на той скамейке в парке, где мельтешили дети и собаки, словно вокруг и не было хаоса и несчастья. Улыбаюсь, хватаюсь за голову, опускаю ее к коленям, и подпрыгиваю, как ошпаренная. Нюхаю воздух – ничего. Наклоняюсь, фуй, это не обонятельная галлюцинация, опять чувствую чудовищную вонь! Соображаю, смотрю на подошву, сначала на одну, потом на другую, и понимаю, что правой ногой я ступила в собачье дерьмо. Навер-

ное, какой-то из этих неприкасаемых собачищ со свалки, которые питаются дохлятиной. Начинаю счищать прутиком, прыгаю до колодца, и тут мне становится так стыдно, что все внутри сжимается. Что тот человек обо мне думает?! Как он безропотно меня терпел! Что теперь думать? Что он теперь думает о женщинах, о поэзии? Не дай Бог мне прославиться, не допусти, Боже, чтобы он меня когда-нибудь узнал, встретил или вспомнил. Какая у него теперь картина этого страшного мира? Так я думала, терзалась, чувствуя, как проваливаюсь сквозь землю своими грязными ступнями.

И, вообрази, что сегодня случилось, – вскрикивает Мария, опять теряясь в своем истерическом смехе, а Коста на нее поглядывал с опаской, выдирая волосок из носа. Это он, – взвизгнула Мария, опять глядя на некролог, – это мой мучитель!

Пройдет не так много времени, но Коста Крстич именно от этой девушки с торчащими сосками, из ее статьи, которая непрочитанной томится на дне его ранца, узнает, что о злом роке Шупута его товарищи по несчастью на Дьявольской Мельнице в Саксонии узнали из некролога, который через два месяца после гибели Богдана опубликовал его брат в «Новом времени» (*Мой брат Богдан П. Шупут, профессиональный художник, мать Эвица Шупут, урожд. Петрович, вдова obl. knjig. ekog fin kot, и тетя Елена Петрович скончались 23 января 1942 г. в Нови-Саде. Инж. Жарко Шупут, Конак, Банат и вся опечаленная родня*), причем, намного позже, когда кому-то из узников пришла посылка, случайно завернутая в страницу с выцветшими извещениями о смерти.

Позже, за 20 марок, Крстич и сам напишет эпитафию в стихах одной незнакомой девочке. (Работа будет следствием того объявления).

Но если он, остановившись перед некрологом, посмеялся бы над лицом, похожим на картофелину, над кривой и треснувшей бесплатной оправой очков, то потом тайком молил бы чьего-то чужого, согрешившего Бога о прощении, и останавливался, усмехаясь, на кромке могилы.

Музыкант перед кинотеатром

И прежде чем они могли услышать разгоряченную автомобильную сирену, прежде чем Мария сбежала вниз и открыла ворота, Девочка смотрела на них, не произнося ни слова. За толстыми стеклами все мутнело, глаза никак не могли их рассмотреть, как будто они от нее страшно далеко, от раздражающего звука им было зябко.

Крстич одиноко стоял на ступеньках, с музыкальной шкатулкой в руках и с опаской ее открывал. Поставь на место, – приказала Девочка, проходя мимо, и молодой человек тупым ударом резко прерывает мелодию.

Женщина шла как раз к той двери. Что вы тут делаете? – спросила она, держась за ручку двери.

Мы читали друг другу.

Друг другу?! – изумилась Девочка. И этот факт словно бы ее блокировал, она смущенно улыбнулась. Читали, – повторила девушка громче, и праздный прохожий мог бы увидеть в окне, что ее лицо приобретает нормальное выражение. – Вы что-то имеете против чтения в вашем уважаемом доме? – Что ты такое говоришь, детка...

Я плохо понимаю вашу изменчивую натуру. Сегодня вы Людвиг Баварский, а завтра следовательно Порфирий Петрович, но все это не дает вам право третировать нас как виновных в вашем бреде, как банду воров, не так ли? Ваш бездушный авторитет врача расходуйте на медсестер или пациентов, мне наплевать! – Ты не поняла, душенька, – успокаивала Девочка девушку, пыталась ее обнять, прижать ее голову к своей груди, а та сопротивлялась. – Ты знаешь, что для меня значишь. – Знаю, – тихо успокаивалась Мария, пряча глаза.

Что это было? – спросил Коста, запутавшись в неловком водовороте лжи и чувств. Где граница, – думал он, – между тем, что действительно я, и тем, что я узнал о себе? Я действительно что-то чувствую, или это обычное механическое раздражение нервных окончаний, скажи? (Разумеется, нет необходимости призывать Бога в свидетели, чтобы он подтвердил, что ничего не имел в виду именно в тот момент, что тогда на самом деле была только экспозиция, что его мысли тогда были простыми и куцыми, но вышеприведенные умозаключения он будет развивать позже, при этом лежа в горячей синей ванне, от которой поднимается пар, или когда идет мелкий осенний дождь, который так легко может отравить жизнь).

И глядя с иллюзорной вершины на двух женщин, старую и молодую, как они обнимаются, слепой к их чувствам, он решается нарушить запрет хозяйки, открывает шкатулку, из которой всегда звучит одна и та же, прогорклая мелодия. И это было, как в черно-белой слезливой мелодраме, когда внезапно с неба и с земли грянет музыка, например, Дмитрия Потемкина, и всех

нас заключит в объятия и захватит, как счастье. Женщины благодарно подняли покрасневшие глаза...

А потом, наконец, крышка гроба опускается.

Голова женщины

Что поделать, с Костой случаются такие вещи. Начнет одно, а потом неожиданно поспешит, словно сердце, которое пропускает удар. Он долго не говорил, почти до школы, и все знакомые, которым было до мальчика дело, считали, что он умственно отсталый. И из-за неестественного молчания, о котором ходил «борода-тый» анекдот, когда он, уже подросток, заговорил, то мог так зачастить с места, что его невозможно было понять, словно он гном, а мы – словно на движущемся эскалаторе.

Откуда ты ее так хорошо знаешь, – спросил он, медленно и аккуратно складывая старые газеты с объявлениями, некрологами, фотографиями хорошеньких женщин, новостями о воюющих народах, запихнул их в один из давно разошедшихся ящиков секретера, которые открывал с усилием и с трудом закрывал.

Я знаю ее с давних пор. Думаю, с детства. Знаешь, Девочка из тех серьезных особ, которые не выносят детей.

Ты хочешь сказать, ненавидит детей?

Хм... Ненависть? Нет, это слишком сильно сказано. Она из тех, нерожавших, с извращенным материнским инстинктом. Но не мамочка кошечкам и собачкам, как можно было бы ожидать. Чернявый пёсик – это в большей степени воспоминание, двойник того, с картины Шупута, живое напоминание о счастливых днях. Могу

покаяться, у нее таких было уже два или три, я не знаю, сколько они живут. Но всегда одинаковые, и ни в коем случае не фетиш. Собака в данном случае – это как подпорка, как знак жаргона из молодости, понимаешь?

И кого же она любила?

Стариков. Она мать старикам.

А тебя она тайком мучила, что ли?

Нет, никакого сумасшествия. Просто она меня игнорировала, видеть меня не могла. Говорила: не могу выносить, когда у родителей рот не закрывается, непрерывно говорят о детях, это комплекс неполноценности, совершенно точно. Это как в «Мистериях» Гамсуна, бедный почтальон, дети которого умеют играть на фортепьяно, или что-то в этом духе, давно это было. – А знаете ли вы, сколько я на это насмотрелась, посещая пациентов на дому? «Давай, прочитай тете стишок, давай, поругайся, давай, сядь ей на голову!» Вынесут вам пирожные, а потом позволяют ребенку все их перетрогать грязными руками. Или надо о чем-то серьезном поговорить, а дети здесь, наострили невымытые уши. Будьте любезны! Никакого порядка, все это коммунистический карьеризм. Даже представить себе не могу, чтобы я влезала в разговоры взрослых! Не знаю, что бы со мной сделала мать. У нас было заведено: собака у камина, ребенок на деревянной лошадке, а не уткнувшись носом в порнографию. Слава Богу, вы умеете обращаться с детьми... – Так они говорили, и родители меня отсылали. Сколько просидела одна в комнате, как под домашним арестом. Она просиживала часами, до полночи, вытаскивала их на незапланированную прогулку.

А твои?

А что мои? Папа был в опале, мама никого не знала. Когда мы, наконец, вернулись из того захолустья, куда переводили отца, то были меньше макового зернышка. Да и с кем тут в округе общаться? Одни психи кругом. Вот эти, с этой стороны – Мария показывает пальцем на стену, – у всех в семействе разные фамилии! Четыре поколения женщин без мужей, как в комедии. Потом появился квартирант, женился на самой младшей, но тем временем перепробовал трех. Он бы и бабуку, но та померла. Те, через дорогу, охотники-богословы, отец и сын, мало-мало, сцепятся и ну, лупить друг друга, чем ни попадя, спасайся, кто может! Вон там полицей, запрещал дочке гулять с парнями до ее седых волос, жене запрещал все подряд, обе в психушке. Но были и ничуть не дурней тебя или меня. А там местная кликуша, каждый день выступает с политическими речами, встает на скамеечку, и ну обличать Папу, раздает нам листовки и рассказывает о конце света... А чего ты хочешь в такой кутерьме. У Девочки никого нет, но ей никто и не нужен. Мои ждут, что однажды все прекратится, а не прекратится-то никогда. Так они и уцепились друг за друга, от отчаяния.

А ты – в комнату?

Лопалась от любопытства, услышать, что там, за закрытой дверью, происходит.

До такой степени?

Думаю, я ее обожала. А родители, знаешь, какими они могут быть лицемерами, иной раз к ней подлизывались, иной раз ее предавали. Дружба развивалась по синусоиде: были периоды взхлеб, когда их любовь была открытой и бесконечной, были долгие месяцы замороз-

ков, когда они даже не смотрели друг на друга... Я использовала эти моменты разъединения для себя, чтобы к ней приблизиться. В конце концов, с каждым днем я все меньше была ребенком, да и ее выборочная антипатия сходилась на «нет». Так или иначе, Девочка начинала мне доверять. По правде говоря, она никогда особенно не старалась скрыть, что считает меня простушкой, но это меня не слишком трогало. А теперь я – единственная.

Ты слегка иронизируешь, – с некоторым сомнением Коста делает вывод.

Может быть, дорогой мой, – соглашается девушка многозначительно. – Но все не так, как при сотворении мира. Ирония, например, стала эмоцией. Она даже сублимировала некоторые, выдохшиеся со временем, «старинные» чувства.

Как? – удивлялся Коста, незаметно ерзая.

Подразумевается, что речь не идет о прямолинейной иронии, которая находит выход в легком остроумии. Я не имею в виду иронию, которая – маска страха и признак примитивной анархии, симптом нигилизма или простой защитный механизм (как это называют психологи). Она вообще не механизм, а «видимость» искушения, испытание зрелости, призыв к жизни, несмотря на косность ее ритуалов. Ирония внушает мысль о бренности и недолговечности мира, она – не высмеивание и издевка, а реальная, глубокая меланхолия.

Достаточно ли сказать, что в тот момент глаза девушки сверкали? Что она говорила, как в трансе, будто под действием наркотика. И почти с каждым словом ее голос крепнул так, что Коста невольно отшатнулся. Но быстро собрался, убеждая себя, что Мария пытается

смутить его заранее подготовленным, механически заученным текстом. Кстати, его настолько заворожили ее губы, ее внезапная трепетная сосредоточенность, что он почти ничего не понимал из того, что она говорила, словно к нему обращалась кукла или проститутка из какой-то экзотической страны, в которой он вдруг оказался. Любой язык сейчас казался ему бессильным и пустым, ее губы говорили только «целуй меня, целуй», ничего другого, и он уже было склонился к ней, изготовился...

И не надо тут приплетать золотозубую гадалку, что грязным ногтем указательного пальца копошится в линии жизни на нашей ладони. Давайте не будем обманываться. Дело простое: надо жить достаточно долго. Это эффективнее любого пророчества, – размышлял Коста Крстич, не подозревая, что и сам болен иронией.

Вот что это будет. Как судьба отведет друг от друга головы несостоявшихся любовников? Разве мы не сказали? Нетерпеливо подаст голос сирена Девочкиного автомобиля, Мария вздрогнет, сбежит вниз, откроет ворота, будущее станет *дежавю*.

Как это выключается, – спрашивает, вздыхая, Коста, щиколотка затекла, и он трясет ногой, чувствуя под кожей мурашки кровотока, словно опять начинается жизнь. Смотрит на музыкальную шкатулку, сам не зная, зачем взял ее в руки. Прямо как те две, почти незнакомые женщины, которые после короткой ссоры упадут друг другу в объятия.

Невероятно, – произносит он, но кто его теперь будет слушать, кто бы его услышал сквозь смешавшиеся примирительные женские всхлипы и ту робкую музыку, которая годы спустя опять звучит из квадратного ковчега.

Разве я хочу писать о ней, – удивляется юноша, пристально глядя на выпачкавшуюся Девочку, на Марию, которая прячется, на узел из двух женских тел, который он хотел бы распутать. Разве я не намеревался, – продолжает он экзаменовать самого себя, – бесстыдно им выложить свои мысли, заблуждения, страхи и надежды, и только за тем, чтобы идти по жизни?

Если бы он знал, что делать, то просто повернулся, ушел в свое логово и на любом клочке бумаги, на полях газеты, на обороте висящей на стене картины или на собственной ладони, шариковой ручкой, как певец, который забывает слова, записал бы то, что в тот момент вертелось в его затуманенном мозгу, а именно, что жизнь писателя – это всегда легенда, и что написание «настоящей» биографии – обычно клятвопреступление.

Но он все еще стоит на верхней ступеньке и не движется. (Ты забудешь, – кричит ему какой-то взволнованный болевщик. – Да ну, у нас такого добра полно, подумаешь, – отвечает другой, плохой напарник). Он не слышит ни первого, ни второго. (И слава Богу, потому что того, кто слышит голоса, отправляют в психушку). Здесь все узнаваемо, – полагает он, пока у него звенит в ушах; все настолько правдоподобно, – шепчет, глядя на женщин как будто издалека, за подробности – жизнь, все бы отдал.

Но моя жизнь начинается только в больших числах, – чуть не слетает у него с языка, – если та, читающая, на гобелене, уже изрядно замешана, раз она и сама запятнала кровью свои нежные, призрачные руки.

Если бы они там, внизу, его вообще заметили, то знали бы, что вертится у него в голове, и могли бы

согласиться с тем, что К.К. не здоров. И когда он об этом подумал, то почти может слышать Марию, как с изумлением и искренним сочувствием та говорит: Он страдает рассказами. Его любовь страшна, неразумна и заразна.

И это наполнило его грудь восторгом, тем фантастическим чувством, словно погружаешься в воду, и он практически не заметил, что сам закрыл крышку музыкальной шкатулки.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (III)

Сокольский переулок

– карандаш на французской
акварельной бумаге –

Ожерелье Мадонны

На Таможенной семейство Шупутов останется до осени. Они спешили освободиться от родственного гостеприимства. Внешне это никак не проявлялось, но к чему опасаться появления тени на любезных от сытости лицах гостей? Впрочем, Шупуты не были людьми, созданными для улиточьего домика, толстокожими паразитами на чужом горбу. И как только представилась первая же мало-мальски приемлемая возможность, они переехали в Подбару, освободившись от груза и неловкой благодарности.

Наконец, и это вполне естественно, – так Прокопие Шупут толковал детям устройство жизни, – в каком-то смысле любой человек – чужой, наступает время, когда и мы становимся друг другу чужими. – Почему он нас не избавит от своих прописных истин, почему он все знает? – спрашивали себя мальчики. – Легко быть пророком, – думал самый старший сын Шупута (который тоже умрет молодым), – говори о самом страшном, и рано или поздно оно начнет сбываться.

Так или иначе, семейство родственника Вуйо Опсеницы (которому Богдан до конца оставался предан)

уже 20-го января, на Святого Иоанна Крестителя, почувствует себя на Сокольской, на праздновании славы¹ Шупутов, совсем как дома, ровно настолько, насколько для гостей прилично.

Съемная же квартира была не очень славной, они делили неопрятный двор с еще несколькими семьями, здесь Богдану придет в голову нарисовать запах прокипяченного белья в сочетании с ароматами тяжелых обедов, словно смешанных на палитре нервного шутника. Они жили совсем близко от центра города, в пяти минутах от здания Ратуши (так называемых Магистратов), в трех шагах от улицы Златна Греда, но все равно по щиколотку в грязи (в переносном смысле, все-таки улица была мощеная). Здесь обретался весьма живописный люд, странная смесь, но не воины и крестьяне, как когда-то, а служащие и садовники, рабочие и бахчеводы, богословы и опытные виноделы, все сразу. Удивительное мельтешение, одним словом! От аромата старой Вены на балах в Доме ремесел до того тяжелого и дурманящего запаха, что исходит от конюшен и птичников. Тогда довоенная слава Нови-Сада уже была не та, все явно подернулось болотной ряской, наступила какая-то глухота, уже ощущалось давление сомнамбулизма и летаргии, но как, положив руку на сердце, сказать такое кому-то, кто жил тут тогда? Стыдно, не по-человечески. Лучше незаметно зажечь нос.

Теперь нам следует пропустить, как Богдан подсматривал в замочную скважину (потому что ничего не видно), тот большой детский страх, тот, если смотреть издали, глупый ужас, который убивает

1 Слава – день святого покровителя семьи.

сердце. Иногда Богдан, можно сказать, бессознательно, испуганно озирался, дрожал, но все чаще и чаще забывал, что откуда-нибудь мог появиться тот жестокий мальчик, сплевывавший сквозь зубы, и ради забавы строивший уродливые гримасы. Его пугало, что, когда он сидит на корточках и заглядывает в разбитый световой люк глубокого, похожего на могилу подвала (откуда пахнет яблоками, и где прорастает похожий на человеческие головы картофель), Пал подкрадется к нему со спины, схватит за волосы, а потом будет мстительно бить лбом об стену, пока у него не потечет из ушей кровь. Богдан не знает, зачем кому-то так поступать, но он и не ищет объяснений, просто боится.

Но время идет, Богдан растет и все меньше и меньше боится, вот теперь, поверьте, он бы скрестил руки на груди, поднял бы подбородок, стал бы на одну ножку, как грибок, и воспротивился бы ему, как петушок. У него теперь есть своя компания, вздохнет с облегчением Эвица, и страстно пожелает, чтобы он опять положил ей на колени свою потную голову. Он освоился, убеждается и Прока, глядя на спящего Богдана при свете лампы, ранним зимним утром, собираясь на работу, набивая золотой герцеговинский табак и чадящую трубочку, и чувствует, как его сердце тает.

Смотрите, как я могу, – кричит Богдан каким-то детям и владеет своим малым пространством, пусть одним кривым квадратом «классиков». Дети приближаются к нему с любопытством и недоверием, как зверьки, и бурно удивляются, а Богдан умело рисует

мелком дома и корабли, поезда, близкое и далекое, лица, на каменных плитах Николаевского портала. Одинаково хорошо и правой и левой рукой! – рассказывает потом какой-то восхищенный малыш. Но ему никто не верит, хотя это правда, и у мальчика от горькой обиды на такое неверие случаются судороги.

И так тонут первые годы юности. Богдан слабый ученик, стеснительный любовник. Примерно лет в шестнадцать волосы у него некоторое время выются. Он становится как-то беспорядочно лохмат. Бросает школу и посвящает себя искусству, из-за которого потом сложит голову. (Последнее утверждение неточно, но звучит вполне достоверно). Он все еще не отдает себе отчета в своей бедности. Кто знает, сумел ли он когда-нибудь ее распознать? Бедность – это жестокий театр. Наверное, он никогда не выучил истинное значение этого слова. То значение, которое быстро вызывает у человека жалость к себе, приводит к духовному саморазрушению. Когда он произносил слово «бедность», то имел в виду простоту, аскетизм, воздержание, кретинизм, целибат. Человек, и это доказано, обладает иммунитетом к некоторым вещам. Они не доходят до его мозга, он глух к определенным колебаниям семантики. Другие же от тех же вещей страдают, дрожат, как собаки перед землетрясением.

Когда, вернувшись из лагеря, за два месяца до смерти, он остался без «боезапаса», то смешивал пастель, акварель, темпера и масло, всё на одном полотне, утешаясь тем, что точно так же поступал и Дега.

Действительно ли существуют цвета, или это всего лишь оптический обман, иллюзии? Видят ли их

люди одинаково или просто теряются в конвенции названий? Киноварь, умбра, охра, сиенская земля... Словно кто-то тебе диктует, как будто пишешь наизусть. Над нашим домом в Сокольском переулке мы не будем воображать цвет, а просто запишем: небо серое, цвет слоновой кости. Значит, слова, цвет придет позже. Если придет. Если мы не правоверные дальтоники. Если он нам вообще нужен.

* * *

В том же доме, на Сокольской, который все так же стоит на своем месте (если не рухнул), Богдан впервые увидит покойника. До этих пор смерть от него как-то скрывали, о похоронах, на которые он не ходил, разговаривали шепотом (его оставляли с прачками по соседству), велели зажмуриваться, когда на улице встречалась траурная процессия. Короче, ему запрещали смерть, как запрещается есть недозрелые фрукты, штрудель перед обедом, залезать на электрический столб.

Шышли-мышли, сопли вышли, дразнились дети на улице, слышалось через приоткрытое окно (было невыносимо душно), а Богдан склонялся над лицом отца, лоб которого блестел, как у куклы, от воска, капавшего со свечи на покойника. Богдан машинально провел пальцем по отцовской шее, где топорщились три-четыре острых волоска. (Смотри-ка, цирюльник их утром не заметил, или они выросли потом – бог знает, подчиняясь какому-то неумолимому диктату). Тело уже остыло, он это хотел почувствовать.

Отцу шел воскресный костюм, только тут и там на свету блеснула булабочная головка. Можно его уко-

лоть, он не издаст ни звука. Когда тем утром его обмывали, покойник несколько раз испортил воздух. Говорят, это случается, но Богдан едва сдержал смех. Потом Прока вдруг открыл глаза и смотрел искоса, как призрак, Богдан молча показал пальцем, гробовщик, с засученными рукавами и лоснящейся лысиной, смиренно их закрыл и набожно вздохнул. Рефлекторное подмигивание, волосы из ушей, которые еще будут расти, булавки в сморщенной коже, газы из ослабевшего кишечника, – бормоча, перечислял Богдан, – вот она, так называемая жизнь после жизни.

Юноша не дождался утра. Сразу после похорон, едва припорошив комочком земли гроб, опущенный в раку, Шупут сел на пароход и уехал в Белград, где он станет воспитанником Королевской художественной школы. Эвица махнула ему с пристани черным платком.

Окно

Женщина кашляет, запихивает кулак между зубов и кашляет долго, изможденно. Даже можно сказать, лениво, если такое бывает. Коста возится с какой-то вещцей, осторожно, словно это живое насекомое, а не обычный диктофон, который заело.

Наверное, так выглядит *черный ящик* самолета, думает он, если с него снять асбестовый корпус: можно поклясться, что он поглощен миниатюрной кассетой; он ее рассматривает, переворачивает, перематывает ногтем мизинца, целиком сосредоточен на магическом кристалле, поворачивает его и перемещает, можно подумать, что ничего не видит дальше своего носа, ничего, кроме кнопочек, в которых сокрыта обманчивая сила возвращать время или перепрыгивать через него, перематывать через языки, стирать истории, но – нет. Коста все видит, и, прежде всего, ее, Девочку, он из тех людей, у кого глаза на затылке и даже на макушке, как у улиток. Откашлявшись, по-стариковски – «кашель курильщика», Девочка натягивает рукав на оголенный кулак, помогая себе и другой рукой, словно ей холодно. Однако от всевидящего ока Косты не могут укрыться крупные пятна шрамов, мелькнувших на мгновение, места, где кожа истонченная, лиловая, слишком натянута, совсем тоненькая. Может быть, она, как Ники

Лауда¹, горела в своем красном автомобильчике, подумалось бы ему, не знай он истинной природы, истинной причины ожогов.

Она не свыкла. Ее опалила любовь, – он опять слышал предупреждение и объяснение возлюбленной, сидевшей на этом же месте на час или два раньше, и кассету можно перемотать на начало.

Это надо? – показывает Девочка на аппарат. – Словно кто-то подслушивает.

Что, простите?! Так я и слушаю. Надеюсь, вы не думаете, что я духовник, что я обо всем буду вечно молчать?

Я почти так и подумала, – признается Девочка. – Я почти поверила, что ты – могила.

Я могу в чем-то ошибиться, недослышать, не досмотреть... Исказить рассказ. Это всего лишь подпорка воспоминаниям, нет причин для тревоги, не понимаю, – Коста поднимает диктофон, как будто собирается его отшвырнуть.

Ну, не могу, – отнекивается Девочка. – Если что-то следует забыть – спокойно забудь. Эта вещица меня тревожит, словно я голая, словно позорюсь... От него излучение идет, – она тычет пальцем в диктофон, сморщившись. – Это – как верхний свет в борделе. Выключи.

И как только Коста выключил механический суррогат памяти нажатием на ни в чем не повинную кнопку и прервал, наконец, всю эту доуку, это позерство и кокетство, разбивается оконное стекло, свистит пуля, вонзается в деревянную раму, осколки стекла летят во

1 Ники Лауда (1949–2019) – австрийский гонщик «Формулы-1». Имеется в виду катастрофа на трассе Гран-при Германии в 1976 г.

все стороны. Юноша рефлекторно втягивает голову в плечи, сжимается, приседает. Женщина остается неподвижной, как распятая, сжимая в руке стакан с ободком жирной губной помады. Когда Коста почувствовал, что кровь кое-как возвращается в его онемевшие члены, он, оглушенный, встает, осторожно приближается к разбитому окну, под ногами хрустят осколки стекла, рассыпавшиеся по полу, как капельки ртути, – это он мгновенно фиксирует, потом встает на цыпочки, неуверенно выглядывает из окна, сжимает стартовый пистолет. Ничего не увидел, тем более одноглазого стрелка, все было, как раньше, все было нереально.

Наверняка, это с той свадьбы, – произносит спокойно, во всяком случае, он старался, чтобы прозвучало именно так, колени у него подрагивали, когда оборачивался к Девочке, ища взглядом бездонное отверстие, сделанное пулей. Вспомнил, как его ужаснула смерть переводчика, албанца, которого в новогоднюю ночь сразила шальная пуля, вылетевшая из одного из окрестных небоскребов Нового Белграда. Но та смерть не тронула бы его больше, чем любой безличный некролог, если бы из скупого газетного сообщения он не узнал, что несчастный человек смотрел телевизор. Какой жалкий конец! Если бы он хотя бы танцевал на столе, или ликующе вонзался в женщину, сходил с ума любым способом, тогда, ладно, но он вот так, в одиночестве, сидел, поклевывал какую-то, как бы праздничную еду, и, Господи помилуй, смотрел какую-то идиотскую комедию. Вот этот факт Косту потряс, это скромное действие, офицерская оргия, это отсутствие ангелов на прудырявленном небе, оскудела милость. Может быть,

я не жалел его не из-за абсурдной, свинской смерти, но жалею из-за отвратительного телевизионного шоу, – бормотал он себе под нос, позже, когда все подразумевалось, но никакая ирония не могла утереть ему старые слезы с мешков под глазами.

Мы сейчас замерзнем, – предсказывала Девочка и заранее дрожала, а в центре окна зияла пустотой изрядная, неправильной формы дыра с острыми краями. Однако, могла ли она избавиться от ассоциации, от побочного воспоминания о похожей смерти своего брата, Мило Йовановича, хирурга, который, вымыв руки, шел с работы, подставляя лицо солнцу и перемигиваясь с небом, когда перед покосившимся газетным киоском, – а у него в руках россыпь открыток с видами Титограда¹ (теплый ветер разошлет их непоименованным адресатам) – его сразила пуля полоумного прохожего, у которого случился нервный срыв, и он, кроме членкорреспондента академии открыток, убил еще семь совершенно незнакомых ему людей, пока несколько толстых перепуганных милиционеров его не скрутили или не ликвидировали, кто его знает. Она часто себя спрашивала, как быстро умер ее брат, просто упал на поросшую мхом тропинку, как это бывает, или сделал еще несколько сомнамбулических шагов, выпрямившись, как киногерой? Может ли вообще человек поверить, что умирает, пусть смерть и застала его вот так, врасплох, приклеилась к затылку (редчайшая марка с дыркой посередине), как бедного Мило, или как Шупута, когда он голый, прикрываясь руками, смотрел на шланг палача,

1 Подгорица, столица Черногории.

стоя в очереди, в ожидании чуда? Правда ли, что вся жизнь промелькнула перед их глазами за несколько ускользающих мгновений (что клятвенно подтверждают выжившие смертники), и какая из картин застыла? Удалось ли Мило, падая, увидеть трупик за корзиной с мусором, личико которого лизала собака, а задравшееся платье оголило тоненькие ножки и грязные трусики? Мог ли Богдан понять, что дряблое тело, страдающее рядом с ним, это его мать, а те перчатки, надетые, словно по какому-то пьяному капризу, на абсолютно голую женщину, которая рефлекторно мочится на свои ступни и стеклянный снег, это те самые перчатки, купленные именно им на жалкий гонорар за карикатуры?

Ах, сколько воспоминаний и ассоциаций! Сколько горячих, убийственных мадленок!

В окно и так дуло, – Девочка очнулась от голоса Косты. Сначала не понимает, чего он от нее хочет, следит за его пальцем, как робот, берет два-три предмета со стола, на которые он указывает. Она словно еще оглушена, счастье, что видит, как он качает головой, когда она притрагивается к часам или к диктофону.

Это, – кричит молодой человек и тычет в воздух указательным пальцем. Он расстелил газету на осколках стекла, картины, тексты больше ничего не значат, он затыкает дыру. Она ему позволяет. Он зубами рвет клейкую ленту, и липкое колесико свисает с его губ.

Если дождь пойдет, не поможет, – говорит Девочка, немного придя в себя.

Не поможет, – соглашается юноша.

Свет падает так, что клейкая лента блестит на окне, как лунный свет.

Карловацкие виноградники

Я так нервничаю. Я думала, что пойдет легче, у меня же есть столько всего рассказать. Теперь кажется, что моя жизнь состоит из пустых историй, бессмысленных путешествий, страстей, гоблинов, призраков и прочих сказок для детей, – женщина извиняется и внезапно берет молодого человека за руку. Этот жест должен бы привести в сцену определенную дозу близости, интимности, расслабленности, но почему-то вдруг оказывается таким неестественным и нарочитым, что собеседник в первый миг отдергивает руку. Судорога быстро проходит, но недостаточно быстро, чтобы ситуация перестала быть неловкой. Рука Косты висит в воздухе, вялой плотью. Она ее неловко отпускает.

Хотите, я буду задавать вам вопросы, – предлагает Коста. Девочка благодарно кивает. – Например: детство?

Счастливое, – отвечает женщина, которую как будто бы озаряет собственное прозвище. И кто бы теперь ни увидел в ней порывистую юную девушку, с каштановыми волосами под соломенной шляпкой, мечтающую в шезлонге.

Девочка, снимите шляпку, – ласково уговаривает ее молодой художник, у которого капля пота медленно скользит по лицу и разъедает кожу. Он незаметно подвинул этюдник ближе, и теперь профессионально и сосредоточенно прикидывает пропорции, устанавливая отношения, которых, по сути, нет. Капризная девчонка дергается от звука его голоса и закрывает лицо ладонями: нет, нет! Я же сказала вам, нет!

Но вы мне обещали, – взывает юный Шупут.

Да, я буду позировать, – признает Девочка, но когда стану красивой.

Свет падает так изысканно, тени раскрылись сами, ничего не надо специально устраивать. Только эта шляпка, – художник как будто снимает со своей головы невидимую шляпу.

Что вы здесь изображаете, как Шарло Чаплин. Вы, наверное, этому научились в этих ваших Парижах, – девчушка злится и еще глубже натягивает шляпку, крепко держа ее за поля, словно кто-то будет ее силой снимать.

Я не вижу вашего лица, а сейчас время... – Шупут опять жестами показывает, что может пойти дождь.

Давай, Девочка, не огорчай нашего Богдана. Послушай, – откуда-то подает голос мать.

Да, и я слышал, что ты обещала, – братец выглядывает из-за переплета книги, название которой плохо видно. – Больше ты с нами в карты не играешь.

Девочка сердито смотрит на шантажиста, швыряет шляпку в кусты. Теперь сидит, надувшись, сжимает зубы, глотает слезу.

Только вы устраиваете так, что я получаюсь самая плохая, – произносит сквозь зубы.

Разве вы еще сердитесь? – молодой человек выглядывает из-за натянутого холста, – а я думал, что мы помирились.

Помирились, помирились, – думает и Девочка. Такая жара, ей надоело злиться. С Дуная слышны гудки приветствующих друг друга барж. Лето, 1939 год. Семейство доктора Теодора Йовановича отдыхает в заго-

родном имении, на винограднике, как они по привычке говорят, хотя только во фруктовом саду и парке надо столько рабочих рук, что Ловро, который тут за всё, не продохнуть. Обедали на большой веранде, сидя в тени столетнего дерева (о котором Девочка упорно твердит, что это баобаб). Два арбуза мирно остывают в холодке. Мать потирает виски, как при головной боли. Мило прислоняет к ее лбу запотевший стакан с холодным лимонадом, и мать благодарно пожимает предплечье сына.

Надо бы приложить ломтики огурца, здесь и тут, чтобы вытянуть боль, – говорит трепетный юноша.

Что за странное лекарство, – смеется художник, зажав в зубах кисточку, – так вас учат в Загребе?

Тебе лучше помолчать, иначе работу не сделаешь, – друг встает, тоже с улыбкой и немного удивленный.

Я ничего не говорил, – Богдан шутливо прикрывает глаза ладонью.

Какая работа? – спрашивает мать. Воздух такой прозрачный, что на той стороне, за Дунаем, можно увидеть сельскую церковь и перед ней, как живую стену, колонну людей (похороны или свадьба), а у женщины от такого яркого дня опять начинает дико болеть голова, словно она надела чужие очки. – Я прилягу, – говорит она и с трудом встает.

Богдан будет делать диплом для господина профессора Гроховяка, почетного председателя нашего студенческого общества, – кричит ей вслед Миле, чтобы она не уходила, не простившись.

На это Захарие, в прошлом медных дел мастер, самый старший Йованович, то дряхлый, то крепкий,

убаюканный вином, о котором слагаются песни, вынырнул из дремы.

Да хоть что! – рывкнул и опять мгновенно уснул.

Молодежь над ним тихонько и беззлобно посмеивается. Внизу, у железной дороги, видят, как доктор Йованович поднимает в воздух жирного сома, которого по дороге, от Дуная до детей, он научит моргать.

Волочение баржи

У всякого ли детство счастливое? – совершенно серьезно спрашивает Девочка Косту.

Я не могу припомнить, – отвечает ей юноша задумчиво.

Единственное, о чем я думала, что я некрасивая. Однако меня утешала истина, которую пересказывают друг другу дети, что любой красавчик подурнеет, когда вырастет, а каждая дурнушка расцветет. – Может быть, – тянет она, припоминая, – может быть, я и была хорошенькой, но только в тот период, когда все девочки хорошенькие. И поэтому я была дьяволенком, вождем краснокожих. Я зажигала отцу сигарету угольком из камина, пела, взобравшись на дерево, спала на пшеничном поле. Только никогда не любила бегать. И, вообще, ненавижу спорт, считаю его плебейским или снобистским занятием. К чему бесполезные усилия? Думаю, что у меня и строение сердца такое, с легким, косметическим пороком... А эти двое, братец мой Миле и Богдан, эти были настоящими зверушками. Бегать, когда влажно и душно, играть в кегли под дождем, в теннис, проигрывая. Все это было для них естественно. Они могли часами ходить на веслах по Дунаю, забывали,

что ночь на дворе. Привратник в клубе, толстопузый, сварливый, по фамилии Куруц, едва мог их дожидаться, чтобы все запереть и поскорее на рогатом велосипеде убраться домой, к остывшему ужину. Или они валялись дурака, или же были настолько оглушены ритмом, рассказом, что человек напрасно драл горло, свистел в три пальца. Но все было слышно. Когда голая Луна успокаивала реку, в призрачном сумраке на каменистой стороне (где они чаще всего и тренировались) слышались только синхронные удары их весел, тот особый плеск воды, как светящиеся круги под веками. Я преданно стояла на берегу, с песиком, который вертелся, все обнюхивал и поднимал заднюю лапку, я уже его, и без того черного, не различала, если бы не упорное, возбужденное сопение, бегала, как и он, туда-сюда, и прекрасно слышала, совсем близко, над гладкой поверхностью воды, усиливающей звуки, смех Богдана и Мило, их гортанные голоса и неразборчивую речь, словно они произносили слова задом наперед. В какой-то момент они неслышно возвращались на берег, и я ни разу их не встретила первой, просто задремав в какой-нибудь лодке, покачивающейся привязанной, они подходили незаметно, наверняка на цыпочках, братик будил меня поцелуем, о, это действительно был сон! Я шла домой, между ними двумя, или ехала на раме велосипеда Мило, защищенная его крепкими руками, сонная, счастливая...

Сколько во всем этом невинной лжи, неосознанного украшательства, которое приносит время, — размышлял разогнавшийся биограф Девочки, теряющийся в ее рассказе, как на качелях. Например, та фотография

(он ее видел), висит рядом с неподвижным глобусом в гостиной, на ней два дружка сидят, с драпировкой из прозрачной цветастой ткани, окруженные предметами (лампа, часть мольберта, холсты без рам и одна богато декорированная рама), которые выдают, после магнито-вой вспышки фотоаппарата, что эта сцена поставлена в мастерской Шупута. В пользу этого предположения свидетельствует и небрежная поза художника, и хозяйская кривоватая ухмылка, и взгляд, непоколебимо уставившийся в объектив, и его на миг одичавшая прическа, и одежда в морском стиле: белые брюки и характерная майка, в поперечную полоску, с короткими рукавами, в отличие от Мило, на котором светло-пепельный пиджак, с широкими лацканами, с крупным узлом на галстукe, волосы, как полагается, приглажены, а глаза смотрят вправо, даже не на Богдана, а куда-то мимо, как будто кто-то или что-то (кошка, ветер, полуобнаженная девушка в мужской рубашке) открыл дверь, к чему хозяин привык и не обращает внимания. Миле что-то держит в руках (что, совсем не видно), с большой вероятностью, что это теннисная ракетка. Но отбросим обнаженные бицепсы художника, а также упомянутый реквизит, который доктору нужен, чтобы занять руки, эту очевидную молодость, достаточно широкие плечи, стройные фигуры, мужественную невозмутимость, которую излучают эти лица, короче, праздник здоровья, но при этом Косте они не кажутся атлетами, не производят впечатление таких уж спортсменов, как это можно было заключить из рассказа. Может быть, из-за маленьких ладоней обоих персонажей, – Коста пытается сам перед собой оправдаться, – из-за тогдашних

модных фасонов, из-за предрассудков, касающихся их профессий, и не имеющих особой связи с физической силой. Но они в его представлении – окаменевшие, как мученики, да, наверное, так, лики с фресок, и ему никак не удастся избавиться от образа их посмертных масок.

Я виноват, – Коста поднимает руку, как в какой-то игре. У меня нет воображения, – он думает и пытается сосредоточиться, – во мне мало крови, мне хочется спать. Я закоснел, поглупел. Боюсь все перепутать. Говорю только то, что от меня ожидают. Я никогда не смогу от этого избавиться.

В чем виноват? – бодро спрашивает Девочка.

Я плохо слушал. Вы не повторите то, что вы сказали?

Я рассказывала о пении.

Похожа ли она на себя? – задается вопросом наш биограф и отводит взгляд. Он не любит эту игру, ну, вот это, кто дольше не отведет взгляд. Если бы он кому-нибудь долго смотрел прямо в зрачки, то, наверное, потерял бы сознание, как от страха высоты.

Но и с подножья холма можно видеть, как двое прекрасных юношей, привстав над сиденьями велосипедов, обгоняя друг друга, поднимаются вдоль Пуцкароша¹. Они уже высоко на холме, почти на вершине, отстающий со смехом хватает ведущего за майку на спине, *fair play, fair play*, кричит тот и вырывается.

В самом начале подъема Девочка слезает с велосипеда, словно на нее наваливается какая-то тяжесть, подождите меня, кричит она перепуганно, толкает велосипед по обочине, жарко, прилечь бы в траву у доро-

1 Улица в предместье Нови-Сада, теперь в черте города.

ги, или скатиться со склона, броситься в полузасохший пруд, из которого торчат початки тростянки, вывалиться в грязи, как маленькой свинке, перепугать диких уток, выводивших насекомых с крыльев в камышовых зарослях. На ее потном лбу от напряжения, от сладких грязных мыслей, проступают, пульсируя, кровеносные сосуды и красные печати-пятна. Ей надо остановиться (она уже потеряла их из вида), отдышаться, предплечьем вытереть лицо.

По дороге из золотых кирпичей проезжает повозка живодера и подает ей сигналы. Девочка, давай, Богдан и Миле подбадривают ее с вершины холма, она поднимает взгляд, но их лица сливаются, из-за солнца. С высоты сверкнул фотоаппарат Богдана.

Я никогда не умела петь. О, как я от этого страдала. Перед сном, лежа в постели, я молилась какому-то мрачному богу, чтобы он одарил меня задним числом. В замен я отдавала один палец, мизинец. Проснувшись, сразу подносила ладони к глазам и сжимала их от разочарования, ощущая биение сердца в кулаках. Обычно, стоя за мольбертом, начинал Богдан, он насвистывал какой-нибудь шлягер или выбивал дрожащие синкопы, Мило подходил к нему, бормоча что-то джазовое, они стояли, лицом к лицу, импровизировали безумные негритянские мелодии, гримасничая, дуя в пальцы или надрывая голосовые связки невидимого толстяка-контрабаса с лебединой шеей. Иногда (чтобы подлизаться к моему чокнутому Захарие) Богдан запевал *Как смятенны мои мысли*¹, зная, что дед будет довольно пофыркивать и ска-

1 Популярный романс, текст которого написал князь Михайло Обренович, позже король Сербии.

жет негромко, но торжественно, что это написал король Сербии, а брат иногда подхватывал песню (он блестяще подпевал, как тень), *tataa*, любопытствуя, выглядывала из окна, и почти не было заметно, что ее опять донимает мигрень. Она никогда не присоединялась к пению, та еще была «соловей с болота», по части слуха – это я в нее, медведь на ухо наступил, но у нее и не было никаких певческих амбиций, ей было довольно слушать ангелов. Меня же было не остановить.

Всякий раз я надеялась, что мои молитвы были услышаны, присоединялась к дуэту молодых людей, напряженная от возбуждения и ожидания, и думала, вот, наконец, мой голос первый, потому что я знала, что он есть у меня где-то внутри, но никогда по-настоящему его не слышала, как с этой вещицы, – она показала на кассетный магнитофон, – ведь человек не узнает себя, когда слушает запись своего голоса. Разве это достоверно, тебе не кажется, что это подделка, искажение? Поэтому я была уверена, что пою чисто, точно, не вру, пока позже не заметила, что их голоса искажаются с трудом сдерживаемым, приглушенным смехом, они смеялись надо мной и моим кряканьем, вот тут я прикусила язык, расцарапала лицо, и, посрамленная, бросилась в объятия матери. Девочка, ты просто открывай рот шире, – я слышала, как Миле меня утешает, отвлекает рассказом, как в школе его схватил мертвец, то есть я хотела сказать, *на уроке анатомии*, я тогда еще не знала эту картину. Всхлипывая, я слышала, что отец отчитывает брата, закипает, мать молча гладит меня по голове, Богдан съежился, как мышь, готов неслышно удалиться, мой Миле покаянно подходит, держа за спиной какой-

то подарочек, из-за этого мне придется поднять голову (не выдержу, хлюпаю носом, закусываю губу, чувствую прохладу на лице), чтобы увидеть, как он протягивает мне зеленое яблочко, грецкий орех, расколотый в кулаке, прозрачный камешек, теплое птичье яйцо.

Мне, наверное, надо съездить туда, посмотреть на этот виноградник, думает Коста, пусть он и запущенный, может быть, поэтому я и не могу включиться в историю, не знаю, за что зацепиться, словно в вакууме, ничего не вижу за чужими картинами. Постоянно втискиваю весь материал во что-то, мне близкое, и это сбивает меня с мысли. Надо бы увидеть Девочку с руками, сложенными за спиной, как она прыгает с ножки на ножку и монотонно, как гусяр, напевает себе под нос песню (скорее, декламирует), которую сочиняет прямо сейчас – о чужом голосе из ее уст, о невыносимых страданиях, о любви, которая убивает. Девочку охраняет свернувшийся клубком песик, похожий на чернильное пятно. Это можно увидеть.

Но место, где все происходит, Коста не может себе представить. Если описывать его как что-то знакомое, то лицо Девочки искажается, она становится похожа на кого-то другого, на куклу, на небытие. Она раскачивается еще какое-то время, как маятник гипнотизера.

Почему у ее песни нет мелодии? Кто отреставрирует эту картину? Кто воспоеет небытие?

И Девочка, похоже, ради иллюстрации, во славу очевидного, вдруг затягивает песню, вдохновенно, отсутствующе. Коста чувствует, как его обдает теплая волна, от живота к груди, завершаясь легким спазмом. Вообще-то, он испугался, что у Девочки случился при-

ступ какой-то опасной болезни, эпилепсии или склероза, а у него, который не в силах распознать ее истинную природу, оказавшемся лицом к лицу с чем-то непостижимым и пугающим, как у любого, на первый взгляд здорового человека, волосы встают дыбом (так говорят, но это, конечно, преувеличение).

Однако места для страха не было, как и времени для ипохондрии. (Он и так заболел всеми болезнями из учебников по медицине, над которыми корпел). Потому что он различил стихи (раз уж мелодию никак не удавалось), как-то распознал, что Девочка выводит *Вечную память*, и он, как под гипнозом, едва к ней не присоединился.

Труба кирпичного завода

А на винограднике вы больше не бываете? Не бываете.

Сначала умер отец, потом Миле. Потом – *tata*... Я бывала позже еще несколько раз, но никто не предлагал хорошую цену. Не знаю, может быть, слишком много запросила. Честно скажу, они мне не нравились. Знаю, что все больше и больше зарастало, но как же он был хорош в своем полном блеске. Каждый из этих приезжих раскачивал одну и ту же покосившуюся жердь в заборе, бурчал себе под нос перед зарослями кустов, входил в здания сконфуженно, с кислым выражением лица. Я бессильно позволяла им рыскать, заглядывать, примериваться, и поняла, что никто из них недостоин. Вы это не продадите, говорили одни. Вы это не продадите, уверяли меня другие. А я молча закрывала за ними двери.

Потом я слышала, что люди стали приносить туда павших животных, мусор, я жаловалась, сначала мусор-

щики это увозили, но, в конце концов, все выросло до масштабов городской свалки. И что я могла поделать? Я подавала в суд, все напрасно. Постепенно отступилась... Знаю, что повела себя безответственно, предательски, оставила наследство гнить под грязной кучей, мать никогда бы не позволила, и мне бы не простила... У меня не было сил. И их могила заросла травой, а когда-то мои пальцы были исколоты розовыми шипами. Теперь я прихожу и сижу на скамейке, изъеденной древоточцем, в зарослях травы, меня за ней не видно. Мы больше не разговариваем. Если ты понимаешь, о чем я. Я была сильной, а теперь – слабая. Слышала, там поселились какие-то беженцы. Пусть, я не возражаю. Потом пришла Мария, рассказала про ваше литературное общество, и я подумала: если мне все равно некому отдать, почему не отдать им, бедняжкам. Они хотят сделать там дом творчества, колонию художников. Ладно, пусть только не будет уголовная, смеюсь про себя.

Все это из-за Шупута, разве нет? – торжествующе спрашивает Коста.

И из-за него, голого, – она отвечает так, что собеседник не мог уловить, идет ли речь об имущественном положении или о вечернем автопортрете в обнаженном виде.

Почему вы думаете, что все художники несчастные, – дернулся он почти оскорбленно.

Не надо, не сердись, – мягко просит его Девочка.

Вы разговариваете со мной, как с ребенком, – он и дальше капризничал.

Не говори глупостей, дорогой мой. Если мы устали от разговора, можем прерваться.

Легко увильнуть. Но вы все время Шупута как будто дразните, а, по сути дела, обходитесь с ним, словно он оголодавший пес в репьях, которого ваш благородный брат привел с улицы, околевать в тепле.

О, здесь у нас есть и революционеры, – прикрикнула ограбленная буржуйка. – Мы случайно не марксисты?

Нет, не бойтесь, – отступил парень, понимая, что перегнул палку, все еще, по инерции, злой на язык, – но, простите, ваше понимание возвышенного – как у выскочек, у нуворишей. Мы же, напротив, говорим об искусстве, о человеке.

Я не могу отнести его к аристократии, он же накладывал сахару по три ложки с верхом в кофе с молоком или в чай...

Он любил сладкое...

... наливал суп до края тарелки...

Нервная рука, ничего более...

... оставлял мясо, чтобы съесть его после гарнира, – перекрикивала его женщина, потерявшаяся в детской считалке, – вылизывал тарелку или оставлял на ней слишком много еды, можно было подумать, что она ему не нравится...

Непосредственный человек, он не придерживался вашего мещанского бонтона, глупых рекомендаций с уроков домоводства...

Но, дорогой мой, – взывала Девочка, – я-то чем виновата, это все признаки бедности!

Естественности, мадам, естественности, – страстно убеждал ее самоназначенный заступник Шупута, а потом вдруг резко умолк, поняв, что говорит о себе,

в порыве самоидентификации с художником, с покойником.

А знаешь, ты прав, – произносит женщина после краткой паузы, и это снисходительное признание Коста воспринимает как собственное поражение, как милосердию.

Маленькие цветы

Дамы и господа! Отец лично приготовит на ужин рыбу, – объявляет Миле, кланяясь во все стороны, подражая конферансье в кабаре.

Этого невинного сомика? – грустно спрашивает Девочка, надевая на голову рыбе, лежащей на траве, огромный таз, и непонятно, она действительно опечалена, или кокетничает. Сильный сом бьется и обрызгивает ее. – Кыш, животное!

Ну, будет разное, – говорит Миле, улыбаясь сестре. – Чего рыбаки выловят.

Ребята, я тут у вас растолстею, – шутя, жалуется Богдан, похлопывая себя по животу.

А в Париже ты, и правда, отощал, – Миле приглаживается к явно похудевшему другу.

Вот так, когда танцуют до утра,... с кем попало, – ехидно вмешивается Девочка.

Эй, полегче, а то слишком остра на язык, – укоряет ее брат. Подавив злость, обиженная девчонка уходит в другой конец сада, садится на качели и начинает сердито раскачиваться.

Правда, а что с любовью, старик? – оглядываясь, спрашивает Миле потихоньку.

Любовь, ах, любовь, я оставил это Верди, – Богдан произносит покорно, хотя размахивает кистью, как дирижерской палочкой.

А та норвежка, Рут? Разве в прошлый раз, в конце концов, не промелькнула искра? Ты сам рассказывал.

Рут, Рут... Она помолвлена, изменница. Я приехал в Париж, стал ее разыскивать, а она уже два месяца, как в Швеции...

И?

Ничего. Замены не было, послушай, занятия любовью отвлекают от работы.

Солнце пробивает себе дорогу сквозь ветки деревьев. Молодые люди замолкли. С Дуная ветер приносит тени. Миле накрывает лицо книгой. Это было что-то о военном искусстве, Богдан читает название – *Tactics*, и это его очень удивляет. С реки доносится едва слышимый, слов не разобрать, разговор рыбаков, а из глубины сада затихающий скрип качелей. Размечтавшиеся молодые люди вздрагивают от голоса проснувшегося старика. Можно ли сказать, что старый Захо был милым в своей нетерпимости?

Что означает его фамилия? Шупут? Никогда не слышал. Точно так же он мог бы быть Путуш, Тушуп... Или Пршут¹, – старик высмеивал худобу Богдана, похожего на щегла.

Это и Крижанич говорит, – кисло подлизывался к старику Богдан.

Дедушка, не говорите гадости. И я бы вас попросил обращаться к Богдану, – краснея, предупреждает Миле.

1 Сыровяленая сухая ветчина, которую нарезают тончайшими ломтиками. Игра слов.

Ладно, ладно, – примирительно бормочет старикан. – Какая фамилия?! Они все такие, эти, с того берега... А вот откуда они родом?

Мы из Лики, но давно. Говорят, что Шупут пошло от *usput* или *suput*¹! Еще под турками мои предки ходили окольными путями, избегая неприятностей в путешествиях. То есть, Шупут – это *usput*, – лепетал Богдан.

Не бойся, я и не думал, что ты племянник Страхиныча Бана²... А разве вы там с турками косо друг на друга смотрели? – подкалывал старый брюзга.

Дедушка! Я же сказал вам, что Богдан из Хорватии. Они сербы, как и мы. Есть хоть один народ на свете, который вы не презираете?

Сербы? А откуда у него эта мадьярская сопатка?

Автопортреты

Мадьярская? – наш летописец недоверчиво качает головой. Они должны быть блондинами, светло-желтыми, как цыплята. Худыми или коренастыми. Сутулыми, как сапожники. Обязательно с печально повисшими усами. Боящимися щеютки, склонными к самоубийству. Тяжелыми. Нет, Шупут не похож на это изображение.

На своем кратком веку он написал несколько автопортретов, и даже нарисовал один автошарж. Ну, что сказать: он словно бы стеснялся рассказывать о себе. Полотна наполнены отступлениями, мелочами, которые затуманивают горизонт, смысл. Чайник, раскрытая шкатулка, бутылка с этикеткой, керосиновая лампа, да

1 По пути, мимоходом, окольным путем (серб., хорв.).

2 Бан Страхиныч (Георгий II Стратимирович) – правитель княжества Зета, герой эпических песен.

еще к тому же удвоенные мутным зеркалом, и какие-то картины на противоположной стене, поэтому художник, в беретке, с шарфом вокруг шеи и в пестром шлафроке, никак не может вынырнуть на поверхность, словно весь в масле и оттого скользкий. Он не производит впечатления несчастного, скорее болезненного, он не таинственный, скорее, нервный, не педантичный, а мелочный. Двумя годами раньше, в 37-м, весь какой-то отекий и отстраненный. Здесь палитра, кисти, холсты, только нет самого художника! Словно, к примеру, рассказывает нам о лете, а его самого мучает зубная боль. Видно, что ему неудобно, как в чужой одежде. Руки настолько неестественны, что зритель мог бы побиться об заклад, что это протезы. Заметно, что он скован, что нет гармонии между головой и телом, что он не похож на себя.

И на сохранившихся фотографиях он выглядит старше: с непропорционально большой головой, словно добавленной к телу, с темными, слишком широко расставленными глазами, . Одежда на нем висит, черты лица, если долго на них смотреть, расплываются. О нем нечего сказать. Если кто-то решит смотреть на него долго, то быстро поймет, что отвлекся.

Национальность по форме носа определить трудно. Он явно не настоящий венгр, французик – с трудом, и менее всего – серб, как мы их себе представляем. Понятно, что официально, в документах, что-то записано, но сейчас речь о признаках. Не Дориан Грей ли это? Подкидыш? Случайный? Мнимый?

Но все эти сказки о прошлом так растяжимы, ненадежны, они такие тухлые, примерно как то, чем бредят пророки и футурологи. Что принесло бы возможное

будущее Богдану Шупуту? Лысину? Глухонемого ребенка? Славу? Деменцию? Наше время? В конце жизни Луис Бунюэль жалел только об информации, в том смысле, что, если там, потом, что-то есть, пусть это будет возможность время от времени почитать газету.

* * *

Старые газеты могут убить человека. Как, впрочем, его может убить все: безумная оса, частица Тела Господнего, застрявшая в гортани, радиоактивный цветок. Жизнь постоянно висит на волоске. Один сосудик лопнет – пик! – кровь зальет мозг.

Примерно так философствует Крстич, в одиночестве, в мансарде. Он питает отвращение к теориям, презирует их всеми силами своей чувствительной души и иногда ненавидит самого себя. Они с Девочкой беседовали, это нам известно. Когда она остановилась (вышагивают оба от стены к стене, вещают), чтобы потянуться, выпрямить усохший позвоночник (так Маркс вышагивал туда-сюда, как маятник, наделенный разумом, диктуя Энгельсу, скрючившемуся в позе древнеегипетского писца, свои теории теорий, вспомнил Коста двух авангардных немецких четников), где-то, прямо под косым окном, Девочка остановилась и обернулась к собеседнику, она была бледна, как обглоданная кость. И когда лекарский подмастерье понял, что сейчас она упадет в обморок, упадет на него, как срубленное дерево, Девочка хриплым голосом спросила: откуда эта газета, показывая на окно.

Прежде чем адресат вопроса сосредоточился и что-либо ответил, женщина срывает бумагу с окна и уходит.

Опять видно отверстие от пули, несмотря на остатки газетной страницы и повисшей паутиной клейкой ленты. Коста ощущает на губах неприятный сквозняк. Потом из того, что осталось на столе, сооружает новую бумажную заплату. Когда дело было сделано, отходит от окна, но недалеко. Он пытливо изучает, согнув шею, есть ли еще какие-нибудь сенсации в оставшихся рубриках.

* * *

Как и все старики, Захарие Йованович страдал бессонницей. Эх, если бы в молодости он мог сберечь столько времени. А так, что? Ему бы лучше всего спать, а он не может. Два-три часа еще кое-как, а потом ворочайся всю ночь. И хоть бы о чем-нибудь думал, но нет, только ерунда. Припоминает, что ел на обед, что на завтрак, всех, кто раньше него умер. И что будет, если от Девочки сбежит ее песик, где мы будем его искать? Спустится ли сверху тот паук на своей невидимой слюне и не заползет ли к нему в ухо? Господи, помилуй! Лучше увидеть во сне призраков или дохлую домашнюю птицу.

Только, когда его одурманит вино, глаза слипаются, он погружается в сон на полуслове. Но не может же он целыми днями пить, голова гудит, в животе урчит, а потом, чуть что – беги до ветру. Он сейчас поговорил с молодежью, но опять тонет в огромном казане, который сам изготовил, полным темной, неизвестной мезги. А ночью опять до утра считай звезды.

Последним осознанным жестом старик, который опять теряется в кресле и на подушке, похожий на личинку, закрывает лицо газетой, чтобы на него не седи-

лись мухи. Он мечтает о том, чтобы, когда он умрет, его родня не писала на надгробном камне просто *медник*, хотя ремесло золотое, а написали бы *Захарие Йованович, великий серб*, как было написано в некрологе его отца Теодора, еще тогда, в «Заставе»¹ Милетича.

Все еще чувствуя неловкость из-за неприличного выпада старика (он знал, что дело не в Богдане как таком, а в любом любителе книг, а значит, это бездельник и бродяга, что-то вроде цыгана), Миле бросил взгляд на дедово бумажное покрывало.

Ах, Богдан, чуть не забыл, мы же не виделись, ты уехал в Париж, но, чтобы ты знал, осенью я побывал на выставке в Павильоне «Цвиета Зузорич»², да, да. Браво, *atise*. Я всегда знал, что ты чудо. Мы видели во «Времени» – показывает в воздухе путь дедовой газеты – *хороший вкус, уверенная рука и несомненный талант к живописи*.

Оставь это, братец, – отмахивается Шупут, но не может скрыть, что горд. – Газеты меня уничтожат, а я в них зарабатываю на жизнь. Ждешь, когда напечатают твой рисунок, карикатуру, в «Политике», «Дне», в «Стриженом еже»³, бежишь к уличному газетчику за свежими газетами, вдыхаешь волшебный запах свежей типографской краски, пальцы черные от невысохших слов, листаешь, ищешь свой штрих, подпись, но они отдали твою вещь перерисовать более опытному худож-

1 Общественно-политическая газета сербов в Воеводине (1866–1929), учредитель и издатель Светозар Милетич (1826–1901), один из наиболее влиятельных сербских политиков в Австро-Венгрии.

2 Выставочный зал в Белграде, построенный в 1927–1928 гг. по инициативе Общества любителей изобразительного искусства «Цвиета Зузорич».

3 Крупные белградские газеты.

нику (и, значит, гонорар надо делить), или, пока ночью верстали, ты выпал, из-за Чемберлена или Сталина, или тебе кто-то даст в морду... Помнишь этого обозревателя из «Молодого Севера», после моей выставки, в прошлом году, в нашем Сокольском доме, поверь мне, я наизусть выучил: *Г-н Шупут недостаточно обращает внимание на проблемы освещения, и, особенно, когда работает на пленэре, и тон его картин можно понять с трудом, ведь человек он совсем молодой. Тому, кто посмотрел эту выставку, приходилось уходить домой в мрачном настроении, потому что все его полотна придавлены свинцовым цветом, пессимизмом или «манерой».* И самые плохие картины – «Виноградники в Карловцах» и «Строительство международного шоссе», которые я писал, стоя ровно на этом месте.

Ладно, не расстраивайся, это шелкоперы, – утешает его приятель. Ты же их видел, они думают, что все просто, – поднялся на вершину Банстола и поплеывай себе в долину. Знаешь, как в Загребе любят говорить поэты: «Собаки лают, караван идет...»

А караван рабов проходит. Послушай, жаль, что ты не мог тогда быть со мной. Вовсе не было все таким «свинцовым». Шкатулка для пожертвований позвякивала, а я давал пояснения к картинам, потому что многие хотели их услышать от меня (примерно так: «В каком это стиле написано?» или «Ага, ... это в современной манере, с кляксами», можешь себе представить). Были и нападки тех, кто совсем ничего не понимает в искусстве. Опять же, инспектор Бановины высматривал, что бы такое купить по поручению отдела просвещения, а Вуле мне на это сказал, что, мол, предложи ему вон

ту обнаженную натуру, ты же писал проституток, вот и продай их Бановине, они там и так все проститутки!

Скрючившись от смеха, сгибаясь пополам, как шлагбаум, Шупут не заметил (в ореоле своего недолговечного лаврового венца), что улыбка на лице его друга застывает, что Девочка слезла с качелей и пристально смотрит, и, чем дольше смотрит, тем меньше его узнает.

Стоящий святой, копия фрески

Про Косту газеты не писали. (Заметка в «Летописи» не считается). Никто не захотел с ним побеседовать, услышать его мнение об искусстве, или, хотя бы, об уборке улиц, о ценах, о городском транспорте. Его никогда не остановил ни один социолог с опросным листом, никто не совал ему под нос микрофон, никто не смотрел в рот. Хотя, он в этом признается, от скуки и бессонницы придумывает ответы на возможные вопросы, ответы остроумные, пронизательные, острые, мудрые. Ладно, наступят и его пять минут славы (как сказал этот консерватор с ногами в курином супе)¹.

Ах, неправда. Однажды он-таки оказался на первой полосе «Дневника», анонимно, на фотографии к тексту: «Солнце выманило на улицы гуляющих». Если напрячь зрение, то мы можем его разглядеть, в светлом пальто, с буйными волосами, лицо чем-то перепачкано, на козьих ножках.

1 Аллюзия на высказывание американского художника Энди Уорхола (1928–1987), основоположника поп-арта («Каждый человек имеет право на 15 минут славы») и его знаменитую серию плакатов «Банка с супом Кэмбелл».

Вырванную фотографию хранила Мария, довольно долго, между раздвижными стеклами книжного шкафа, краски поблекли, а бумага по краям порвалась. Разумеется, рядом с Костой – она, прогуливаются по набережной, только девушка едва угадывается, словно прячется за ним, словно неудачно скомбинировала цвета одежды. Какой-то косоглазый парень идет метрах в двадцати перед ними и вдруг приседает, прицеливается камерой, щелкает. Они не обращают внимания, думая, что он фотографирует кого-то, кто идет за ними, или просто панораму – Рибняк или Бечар-шtrand, с разрушенным мостом между ними. А на следующий день, смотри-ка, вот они, черным по белому, застывшие на бумаге гуляющие, которых выманило едва заметное солнце. Утром, в день выхода газеты, опять шел ледяной дождь со снегом, потому что – март.

Одно время он регулярно звонил по телефону ночной программы местного радио, голосовал за ту или иную песню, отвечал на вопросы викторины, высказывал свои пожелания, чаще касающиеся музыки, потому что они спрашивали. Он не знает, это считается?

Ведущие узнавали его по голосу, добрый вечер, Коста, вот наш неутомимый Коста, и тому подобное, в пору было подумать, что все мы тут друзья. Но он ни с кем из них не познакомился, хотя встречал их то здесь, то там, задевал на ходу плечом, или сбрасывал снег с крыш их автомобилей, просто из любезности, анонимно.

Иногда по утрам у здания радиостанции он дождался какую-нибудь журналистку, устало жующую черствую булочку, но ни разу не вышел из тени платанов. Дико звучит – внезапно подойти к незнакомому на

улице, а он строго следил за тем, чтобы не производить впечатление ненормального дикаря. Трудно с кем-нибудь познакомиться просто так, чтобы человек не заподозрил в вас маньяка и чудака. Вот, это мое мнение, если бы хоть какой-нибудь журналист хоть когда-нибудь спросил меня об этом.

Он стоял под деревом и взглядом провожал девушку, покачивающуюся, как лодка. Он едва мог совместить внешний вид с голосами, то есть с их дневными лицами, но потом привык. Шел следом на некотором расстоянии, до ее дома или кафе, исподтишка смотрел, как она целуется с мужчиной, который вставал ей навстречу, как сливаются их тени. И другое.

Сейчас кто-нибудь скажет, что я с приветом, но что плохого и болезненного в наблюдении над людьми? В том, чтобы идти следом, ничем не угрожая? В застенчивости? Вы можете, не подумав, назвать меня вуайеристом, ну и пусть. Я бы скорее назвал себя исследователем. К чему спешка? Однажды мы поговорим. Но сначала я буду на вас смотреть. Как на картины.

Лежащая обнаженная натурщица

Вот так, как в старом альбоме, который медленно растягивается и пустеет, словно верхняя колба песочных часов, чередуются картины, одна за другой, страница за страницей, день за днем. Времена года сменяют друг друга, как в барабане рулетки, когда в него опускаешь руку, никогда не знаешь, что ухватишь за шею и вытащишь на свет божий. Душное лето с головной болью или голые февральские ветки? Ноябрьский август? Грозу на зимнего святого? Но вернее было бы сказать, что

все четвертинки перепутались, смягчились, съели друг друга, можно ткнуть пальцем в любой день календаря, всегда получишь одно и то же: сероватые мурашки по коже, свет, который есть, и которого нет, мертвые краски. Люди умирают от погоды, от климата. От метеорологического прогноза.

Мария сделала блестящую выставку Шупута. Юбилей прошел незамеченным. Кому был интересен еще один давний покойник в разгар инфляции смерти? Вообще, знание одичало. Наступила страшная эпоха, эпоха конца: каждый знал правду. Незнаек не было. Коста просыпался с чувством, что у него вырывают здоровые зубы.

Но в рассказе все это выглядит преувеличением. Жизнь – она мягкая. Довольно, чтобы тебе не мешали спать. Он неделями не выходил из комнаты в мансарде. Иногда выходил и напивался. Свет иначе преломляется в слезящихся глазах, выпученных от рвоты. У воздуха, вдыхаемого через сжатые, кислые зубы, есть вкус. Он едва находил дверь. Девочка толкала его вниз по лестнице. Умывала и готовила ему еду. Она, в конце концов, меня съест, когда я стану достаточно упитанным.

Целыми днями работал телевизор. Нет никаких картин в ее кровавых покоях, – говорил он Марии. Разве они нужны, еще какие-нибудь, кроме электронных, которые, скользя, сменялись на экране? Аппарат беспрерывно работал, и почти загорелся, начал дымить, пластмасса завоняла. В панике, опасаясь взрыва, они запихнули его в ванну (Коста выскочил на крики, как Архимед). После трех дней ожидания пришел плюгавенький мастер и ободрал их, как липку. (Точнее, Девочку, но была в этом и доля Косты, его стараний и дел).

Время без картин они провели наверху, слушая радио и беседуя. Девочка ненавидела новости. Она хотела мира без новостей, старого мира. Но разве не этого вождедеют все старики и в мирное время? Если исходить из этого критерия, то он тоже старик. Мафусаил, который мочится на свои ботинки.

Они ловили какую-нибудь беззаботную станцию и предавались безумствам. Слушали советы по уходу за кожей, чистке столового серебра, рассказы об инстинкте убийц у золотых рыбок, о количестве алкоголя в крови у профессиональных шотландских футболистов. О моде. Которая долетает с какой-то погасшей звезды.

На что вы живете? – расспрашивала Мария, все еще боящаяся, что Девочка пустит на растопку какую-нибудь из тех, еще не обнаруженных картин, которые в один миг изменят ее жизнь и смерть Шупута. На пенсию, – успокаивал он ее, – на мои гонорары. Почему ты не вернешься домой? – озабоченно спрашивала она.

Лучше забыть о тех картинах. Ты же видишь, что сейчас успеха добивается только гиперреализм. нынешние покупатели – умственно отсталые, они думают, что если что-то не точь в точь, как в натуре, то картина не имеет ценности. «Если бы он умел рисовать, то ни себя, ни нас не утомлял бы абстракциями», – вот как они рассуждают. Тем, вчерашним, можно было продавать дерьмо в консервных банках. Даже собачье. А эти, теперешние, требуют точности. Мир настолько реалистичен, что перестает существовать. Как картина. И как мир... А твой новый Шупут уж точно не фотокопировальная машина.

Не выдумывай, – шипит Мария и закрывается руками, словно он испортил ей прическу.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (IV)

Дворец Вагнера

– уголь, 39 x 50 –

Пояс невинности

Еще не утихли детские восторги по поводу того, что Шупут умеет рисовать обеими руками, а уже пришло время удивляться странному известию, что левой рукой он рисовал, а правой – писал красками! Глубоко погружившись в искусство, вдохновленный акробатом Алексичем, который за аэроплан держался зубами¹, а также легендой, которая в те времена ходила по салонам спиритов (Эвица их тайком посещала), о знаменитом сэре Лесли Блашквике, который (если верить глазам) одновременно мог писать различные тексты на двух языках, один – одной рукой, другой – второй (эксперт это объяснял каким-то феноменом головного мозга, непостижимо точным разделением полюсов, не закрытых корой). Шупут искал в себе библейскую силу, не столько для работы над двумя картинами одновременно, сколько для предполагаемой ментальной и перцептивной способности одновременно воспринимать две различные картины, одну – одним глазом, вторую – другим. Для своей странной, юношеской obsessions (он скрывал ее, как ящерица лапки) Шупут позже, в Париже, будет искать обоснование в теориях Сезанна,

1 Драголюб Алексич (1910–1985) – знаменитый акробат, прославившийся этим и другими трюками.

в его кредо, что в живописи важнее всего зрение и мозг, иными словами, гармония упорядоченных чувств, то есть, что в бесконечной прозрачности и совершенной чувствительности зрение и мозг становятся единым целым. И единственным.

С ногами, синими от цианоза, и с кругами под глазами, Эвица возвращается с этих противоестественных собраний обессиленной, в новую квартиру, одну из многих в мрачном Дворце Вагнера, на Площади Освобождения, иногда заставая Богдана над листом бумаги, сгорбленного, как портняжку, а иногда – только нетопленную комнату, в которой витают домашние духи. Иными словами, ее Богдан живет параллельными жизнями, выглядывает из двух параллельных картинок, весь год он в столице, здесь на каникулах, или если заболевает.

Женщина садится, не снимая пальто, и не зажигая света. Чувствует, как с каждым ударом пульса отекают ноги. Глаза привыкают к сумеркам и теперь уже четко видят очертания предметов, ей кажется, что во мраке вещи становятся прозрачными. Почти всю мебель они перевезли из квартиры на Сокольской, машинально отмечает она, кроме старого сундука, который там как бы забыли. Она с трудом привыкает к одиночеству. Надо написать сестре, чтобы та переехала жить к ней. Надеется, что незамужняя сестра ждет этого с нетерпением. Она испытывает легкие угрызения совести из-за своего эгоизма, но что это по сравнению с изжогой. Так будет лучше всего. Мальчики все больше в отъезде, мысль о мужчинах по-прежнему вызывает у нее отвращение. И так на нее поглядыва-

ют только женатые: пьяница-железнодорожник и невымытый трубочист. Разве она еще смеет надеяться? Поэтому терпеливо ждет, когда Прока придет в ее сон или застучит жалюзи. Как и любому, пережившему потерю, ей остаются дети и отсрочка.

Разве она может думать иначе? Слышит стук в дверь. Почему никто не отперет, – думает она, и вспоминает, что видит сон. Наверное, это мог бы быть и Прокопие, или кто-то из мальчиков, может быть, она перепутала даты в календаре. Не дай Бог, какая-нибудь соседка-болтушка, с новой сплетней, от которой потом в ушах заводится грибок? Господи, пусть этот стук прекратится, Эвица кусает губы и скрещивает пальцы, пусть мучитель, кто бы он ни был, уйдет. У нее нет сил встать.

Опять вытирает руки о себя, вынув их из таза, в котором плавают пригоревшие кастрюли. Открывает дверь и впускает бродячего сапожника. У нее не хватает денег заплатить за все отремонтированные каблуки, за замену металлических пряжек, заплатки, набойки, она стесняется и оправдывается, но мастер не сердится и берет в оплату некоторые предложенные вещицы покойного Проки: трубку в форме слоновьей головы и потертый портсигар (мальчики все равно не любят табак), и сломанные карманные часы, которые тот все-таки встряхивает и подносит к уху.

Смешной этот парнишка (не старше ее Богдана, любезный, даже сладкоречивый), она наблюдает за ним, как он припадает перед ней на одно колено, как рыцарь, обнажая темя в паутинке волос, ловко надевая ей туфлю, и поднимает голову, лицо озарено улыбкой, он сде-

лал свою работу, а ее пепельно-серого лица не видит. Эвица не позволяет себе отдаться приятному чувству, словно он вымыл ей ноги, не позволяет сладкому электрическому заряду пройти от ступней до сердца, сладкие мурашки (от которых она едва не описалась). Женищина быстро сжимает колени, подбирает волосы.

Как он красиво говорит, замечает она восхищенно, подавая ему варенье из арбузных корок и розовую воду, только говор у него немного странный, нездешний, но мягкий и неопределенный (Эвица максимально напрягает слух, но не может угадать), кто знает, где и как он его подхватил. Она слушает с наслаждением, дивится ловким, опытным рукам, перебирающим старые ботинки Богдана. Мастер подносит их к глазам, а потом со знанием дела говорит: Богдан, когда ходит, выворачивает ступни вбок, поэтому подметки по краям совсем износились, истрепались. Кладет их себе на колени. Длинным ногтем деревенского модника достает из розовой воды утонувшую в ней осу.

Закрыв глаза, наклоняет стакан, Эвица пристально смотрит надвигающийся кадык, прыгающий то вверх, то вниз, на капли, стремительно стекающие по крепкому подбородку мужчины, по его шее, под рубашку. Выпив залпом душистую воду, мастер утирается ладонью, смотрит на женщину. Эвица думает, что, если судить по этим огромным черным ботинкам, то Богдан – Голиаф, если не знать, что в мысы он набивает смятые газеты. Детская могилка, говорит она застенчиво, и рукой гладит черную траурную одежду.

Потом опять кто-то стучит в дверь. Кто опять, думаю, отворяю, и вижу моего покойного Прокопие!

* * *

Эвица по-прежнему сидит в темноте, ее взгляд скользит по комнате. Может быть, она смотрела бы в окно, открываясь из этих окон какой-нибудь вид. Но она редко раздвигает тяжелые пыльные шторы (которые и пулей не пробьешь), еще со времен скандала с той обнаженной натурой.

По правде говоря, Дворец Вагнера (хотя дворцом его называть мы можем весьма условно, его склепали по образцу какого-то австро-венгерского помпезного здания, исключительно ради получения арендной платы) с улицы и не выглядит так уж отвратительно, как из многочисленных квартир, что окнами во двор, а те окна смотрят прямо в соседские тарелки со скудной едой и на продавленные кровати. Романтический посетитель, исходя из названия строения, наверное, ожидал бы увидеть дом, полный божественной германской музыки, многозвучную Вальхаллу, дунайское золото. Но мог бы получить только цветочным горшком по голове и выплеснутые помои, бесконечный ор озлобленного люмпен-пролетариата, низшую степень революции. Беги отсюда, прохожий, как можно скорее, без оглядки, если можешь! Как отличается окружение, по сравнению с соседями на Сокольской улице. И там люди с пустыми карманами (беднота лучше всего возрастает на мусорных свалках), и там пьют и буянят, но как-то человечнее. Эвица клянется, что так. Она тоскует по Прокопию, кажется, именно поэтому слышит, как утешает ее родня, люди везде одинаковые, низкие, грязные и алчные, не стоит переживать, нет никакой разницы.

Эвица сидит в сумерках, на сердце у нее тяжело. Пытается рассмотреть на стене ту картину, очертания обнаженной натуры в вечернем свете. Она не может ее видеть, но знает, что если бы собралась с силами и привстала, то смогла бы погладить обнаженную девушку, которая лежит, прикрыв глаза, словно испугавшись внезапно вспыхнувшего света. Это было одно из первых произведений Богдана, привезенных им из Белграда. Привез и повесил на стену. Как же раскаркались сплетницы! Это что, бордель, как оградить детей от такого бесстыдства, мы же приличные люди, мы убереглись от греха и плотиц, не знаем, куда глаза девать.

Богдан пытался перевесить картину, искал уголок, но кто виноват, что все квартиры были как на ладони, а дуло отовсюду! Куда бы ни спряталась голенькая девушка, она все равно попадалась кому-нибудь на глаза. Сын был в отчаянии. Эвица не могла допустить, чтобы он стеснялся. Со дна какого-то сундука достала этот бархат, сшила из него плотные театральные шторы и повесила их на окна. Закрепила. Заковала в доспехи.

Они быстро привыкли жить в полумраке, в подполье, где мечтать больше не помогало. Правой рукой, в полутьме, Шупут начинает рисунок: «Сумерки Богов во Дворце Вагнера».

Художники и модели

Посмотри-ка, каков он, мой Богдан, удивляется Эвица, поправляя прическу и становясь рядом с сестрой, совсем не стесняется, как ребенок. Встаньте щека к щеке, – Шупут издалека их передвигает. Они стоят перед домом, он отходит назад, к гостинице «Королева Мария», нацеливает фотоаппарат, а извозчики кричат ему, чтобы убрался с дороги.

С прогулок и экскурсий Богдан возвращается с ворохом фотографий, которые комментирует слишком громко, тратит свои малые карманные деньги на химикаты и разные безделушки, которые к таким картинам прилагаются. Он любит такие «записи», воодушевленный скоростью (словно какой-нибудь медленно сгорающий футурист), произведение искусства живет столько же, сколько продолжаются аплодисменты, объясняет он одышливо, набивая рот едой. Матери показывает не все, однажды она, от нечего делать, их перебирала, наткнулась на одну, где ее сын сфотографирован в виде лежащей обнаженной женщины. Ох, такие глупости ей совсем не по нраву, от расстройства ей даже пришлось сразу прилечь, она знает, что у него добрая душа, но только заносит его невесть куда. Когда несколько лет спустя она увидит картину Богдана, написанную маслом, где обнаженная натурщица лежит в такой же позе, как когда-то он сам на той фотографии, ей станет неловко и тоскливо и захочется выйти из душного помещения.

Богдан любит переодевания, маски, краски. Если у него не получается, то иногда на холсте он расписы-

вает лицо, как индеец-команч. Однажды в Париже увидит дагерротип сюрреалиста Арагона, где поэт был снят в детстве, там малыш сидит со скрещенными ножками, в платице, с локонами. Сказать, что Шупут был таким, с нашей стороны было бы неуместным преувеличением. Как сказал бы корреспондент загребских «Новостей», далек от «каких-либо авантюр современного Парижа и смелых экспериментов масштаба Пикассо». И все это правда.

Но это ему вовсе не мешает, на балу-маскараде в парижской мастерской Педжи Милосавлевича мы видим его, нарядившегося в костюм экзотической японки! Художники, собиравшиеся по субботам в «салоне» сербского живописца, на вечеринках с сюрпризами, по определению склонные к декадансу, были невинны. Стеснительная «гейша» вызвала смех и восторг у неких Мишель Морган, Эдвиж Фейер и Франсуаз Розе, а также у каких-то балерин и учеников актерской школы Шарля Дюллена. Тут бывают и наши, например, художник Миливое Узелац и Цуца Сокич, бонвиван Джока Яйчинац, и воспитанница Дюллена Ольга Кешелевич. Все спрашивают, как Богдан выглядит смешнее, вот так наряженным или полностью обнаженным. Богдан, однако, полагает, что он модник, денди. Часто у него не бывает ни франка, при этом он с легкостью, на первый взгляд, играет роль голодающего художника.

«Немного позже, на том же месте, – пишет он Девочке Йованович, – один итальянец будет снимать фильм, но только для домашней проекции, на узкой пленке. Множество софитов будут освещать кинозвезду Лизетт Лонвен, с которой я имел честь испол-

нить, вместе с Узелацем и Педжсей, несколько комических сцен для фильма и позировал для фотографий».

* * *

И ярываюсь между художниками и моделями, – Шупут часто заманивал моделей какой-то далекой мечтой, как овечек. Этих, например, из школы искусств: Каролину Маркс, Милеву, Ружу Цыганку, и какого-то студента, негра, по имени Колá Аджан.

Это ворон? – спрашивает наш господинчик, укаывая на фигуру упомянутого негра, на переполненном деталями эскизе, который Богдан набрасывает «по памяти». Он сидит на ступенях соседнего дома, рисует на коленях. Тот молодой человек спускается по лестнице, его трудно рассмотреть, потому что солнце стоит высоко и бьет в глаза, отражаясь от светового люка у него за спиной, превращая идущего в длинную тень, в блестящую палочку угля. Идущий останавливается, заметив рисовальщика, сидящего к нему спиной, неслышно приближается к нему и так застывает, похожий на распростертое тонкое крыло, замороженно глядя на рисующего.

Богдан не поворачивается к наблюдателю, словно у него нет времени на праздного прохожего, чувствует только приятный запах чистоты, исходящий от юноши. Весь дом такой, можно заключить по полированным ступеням, светлый, щедрый. Разве возможно, чтобы рай и ад оказались так близко друг к другу, Богдану просто не верится, кажется, если бы просунуть руку сквозь стену, Бог перестал бы думать о доме, и он, этот дом, потерялся бы в ничтожности Дворца Вагнера.

Чей это дом? – спрашивает он и встает, разминая затекшие ноги, оборачивается к молодому человеку и показывает ему рисунок, стоя на нижней ступеньке, в противном случае они смотрели бы друг другу в глаза.

Наш, – отвечает учтивый любопытствующий, показывая глазами на мраморную табличку с именем доктора Теодора Йовановича с широким красным крестом, в сердце которого свернулась змея. Такая же змеиная спираль напугает Богдана, когда он поднимется со стола доктора, как сломанная пружина. Не бойся, скажет его новый друг, хватаясь за голову, это просто высушенная лоза из нашего виноградника. Пугающему сходству улыбнется и голый череп, прижимающий бумагу к столу. Богдан подносит ко рту чашку с чаем, ощущая привкус ванили. Змея вечно будет ползти по рисунку, неся на одном зубе яд, а на другом лекарство. Однако, и рай, до грехопадения, тоже пугающий, думает Богдан, посасывая кусочек леденцового сахара, как здесь много язычков, костей и непристойных моделей.

Мне хотелось иметь бы мою голову, попросит его молодой Йованович, крутясь на фортепьянном табулете.

Но все это, и этот five o'clock, и ваяние бюста юноши, гильотинирование в гипсе, как они в шутку назовут эту работу, будет происходить в следующие месяцы и годы, потому что на лестнице Богдан примет руку, протянутую Мило, заметив, что она влажная, и после вопроса, был ли это ворон, сопровождавшегося легким нажатием подушечки пальца на сомнительные перья, угольное лицо размазывается, стирается.

Это не ворон, а негр, Колá Аджан, я думал о нем, но мог бы быть кто угодно, даже и старый ворон,

который, каркая, произносит несколько человеческих слов на языке пигмеев. Да, это вполне мог бы быть ворон.

Возьми это.

* * *

Так, после Мило Йовановича, побратима и горячего поклонника (даже можно сказать: лирического мецената), этот убаюкивающий ряд моделей Шупута можно было продолжить – сезанновскими игроками в карты, носящими наши имена, которые мгновенно исчезают, чернокожими трубачами из бара «*Boile Blanche*», которые перекликаются друг с другом гортанными возгласами, Девочкой, увиденной через прицеливающийся, циклопический монокль доктора. Здесь целый ряд портретов и шаржей: Люба Давидович, доктор Мачек, доктор Спахо, Жарко Васильевич, Педжа Милосавлевич, Дж. Яйчинац, профессор Мудрински, некий Пал Блашкович в плену, Эва Клука. Тела и головы. Он с трудом запоминал лица, но с еще большим трудом забывал. Случалось, что от скуки или пресыщенности он отрывал руки-ноги куклам и крылышки насекомым.

Мое сердце – это иной раз пугающий бал-маскарад, кровавый карнавал, – говорит он Мило, который озабоченно ощупывает его горящий лоб. Я продал портрет короля «*Дунайской сберегательной кассе*», но кому-то из начальников не понравилась королевская голова! Наверное, он им показался похожим на шведа или шалопая. Я убрал его голову и сделал «нам просто надо перерисовать», и теперь жду, что с обычными людьми повезет больше. Представляешь, я обезглавил

нашего короля, – кричал Богдан, катая этот йориковский череп по столу, показывая изумленному другу свою черную руку.

Когда в тридцать девятом в Сайлово готовили площадку под взлетно-посадочную полосу, раскопали какое-то старое кладбище. Вот где было голов, – пересказывал Шупут, восхищенный, как веселый покойник, лотреамоновской картиной раздавленных черепов, как в «Песнях Мальдорора»,! Как уж он там оказался, мы не знаем, но слышали, в какой лихорадке он перенес семь распадающихся черепов тысячелетней давности, разрушенных тихим порохом ила, в здание Матицы, и там рисовал и писал их, чтобы не нести домой, потому что дом и так был полон таких же, насаженных на колья, которые по ночам, клацая челюстями, взывали: «Дай голову, дай голову, Шупут!»

Эта морбидная тема полностью овладеет его мыслями и чувствами. Будучи в плену, он в 1941 году выполнит приказ хозяина завода Шмидта и напишет его портрет. Оставшимися материалами, огрызками, Шупут сделает портрет товарища по несчастью Пала Б., который был спокоен, как мертвец, и мог сидеть на солнце бесконечно, не обращая внимания на муравьев, заползавших в дыры на одежде, на мух, которые садились на него, как на стекло, на страх смерти. Эта картина попадет в нашу страну после войны, подписанная вымышленным именем («gemalt d. 17.1.1944. von Baronin Benita von Behr»), дата более поздняя, когда наш художник уже давно был мертв.

Опять маска? Записка из бутылки или с того света? Единственный способ избежать цензуры? Попытка

реинкарнации? Или просто общее место о бессмертии картины, о неведении?

* * *

Прошу вас, оставьте мне перчатки, – повторяла женщина, сжимая маленькие кулачки, не чувствуя пальцев.

С напряжением, от которого болит каждая клетка, Шупут замечает, что тетя говорит о его подарке, купленном на гонорар с выставки в Сокольском доме, тогда же она получила и галоши, а Эвица – очки в оправе аэродинамической формы. Машинально смотрит на мать. Где же ее очки, подумал он, вообще-то я никогда не видел, чтобы она их носила! Может быть, они сразу разбились, а она их спрятала на дне ящика комода, или они ей не нравятся, а ему не говорит, чтобы не обидеть. Мама, зовет Богдан, желая объяснить, что отремонтировать или поменять очки – минутное дело, но тут что-то тупо и больно толкает его в лопатку, он поскользнулся. Подняв голову, видит двух, как кто-то по инерции сказал, женщин «средних лет», кто-то, не знающий, что их «лета» совсем на исходе, – мать, похожую на сухую розу (его вечно грызло, что он ничего не понимает в цветах, знает одно-два названия), как она левой рукой закрывает голые груди, а правой снимает чулки, с которых исчез цвет; и тетю, светлое, но недозрелое яблочко, как она, уже обнаженная, протягивает руки и – дрожит.

Перчатки связаны крючком, нитяные, с какой-то милой арабеской на тыльной стороне, с вышитой птичкой на ладони, счастье той птички, что она неживая.

Готовя сюрприз, Богдан долго держал тетину руку в своей, тайком ее измеряя. Тетя удивлялась и смеялась. От этой необычной ласки ей было щекотно, подушечки пальцев горели. Иди к черту, она его оттолкнула, задрожав, посерьезнела, а Богдан, в конце концов, повел Девочку примерить перчатки для тети.

Látod hogy bolond, haggvad¹, – хихикал солдат и дул на пальцы.

Здесь все люди, – процедил второй. Подбородок у него дрожал, он не позволял себе оплошностей. Вспомнил юношу, перепрыгнувшего через стену, и ему стало страшно. Разве он бы его упустил, если бы боялся, задавал он себе вопрос, разве в этом мире больше нет человеческой благодарности, Бога? Поскользнулся и упал. От удара о снежный наст произвольно выстрелила винтовка. Вороны шумно взлетели с голых веток. Солдат встал, плюнул, поднял винтовку, понял, что приглушенный смех товарищей предназначен для него. Sorba², – прикрикнул он, – строй, в строй!

Я никогда не видел мать голой, в оцепении замечает Богдан, и смотрит на чужое тело. Неужели меня сотворили из него, из одного ребра? Оглянулся вокруг. Для этой сцены не требуется бог знает сколько красок, оценивает он со знанием дела. У меня еще есть несколько тюбиков, эти оттенки серого сделать нетрудно. Солнца нет, но кое-где можно добавить чуть-чуть желтого, для пористых следов собачьей и человеческой мочи на снегу, точно, акцентом. Тетя, почему ты прячешься за мной, ладонями закрываешь лицо, я боль-

1 Тоже мне, нашла дурака (венг.).

2 В ряд! (венг.).

ше не позволю тебе убегать, пришла и твоя очередь, теперь я тебя поймаю, напишу. Сколько же здесь моделей, какая же это будет обнаженная натура при вечернем освещении! Смотри-ка, все разделись. Никто не стесняется.

Открытое море

И почти отсюда, с того места, где он сейчас стоит, на четвереньках, неполные десять лет назад, Шупут отправился, – скажем так, – на пароходе в Белград, учиться ремеслу художника. Но не сказать, что потом он увез из столицы в своем воображении множество ее образов. Он с удовольствием запоминал звуки большого города, сливавшиеся в свежую каплю и возносившиеся к небу в виде загадочного облака, полного шумов и отголосков. Это облако можно было глотать как сахарную вату или тахинную халву, которую едят на кладбище. И пальцы все время были липкими, объяснял Богдан Мило Йовановичу свое особое восприятие столицы, стараясь точно насвистеть ее мелодию. Вообще-то, он всегда насвистывал, когда работал, какие-то французские, венгерские, русские оперные арии или же зажигательное сербское коло, отточенными движениями растушевывая тени. Живописи нужна музыка, это киношники поняли, объяснял он, или ты оказываешься один на один с глухонемым взрывом, в опасности, что останешься без воздуха, задохнешься.

Шупут восторгался белградскими топонимами. Душановац, Топчидер, Кошутняк, Звездара, Сеняк. О, сколько раз его гипнотизировало это пышное, лу-

натическое благозвучие. В некоторых из упомянутых районов города он так никогда и не побывал. Разве они могли сказать что-то иное? Разве возможно, чтобы там кто-то жил?

В Белграде он сменил несколько адресов. Ни один из них не стоит упоминания, это пустые, попутные полустанки, которые машинист пролетает, а запоминают только чудаки и досужие люди. Скажем только, что ему и там в обустройстве помогли родственники Опсеницы, фамилия которых всегда противоречила их надежности. Поэтому в качестве проверенного белградского адреса Шупута мы укажем улицу Короля Петра, дом 4, письмо передаст привратник школы, если кто-то пожелает ему написать.

Положа руку на сердце, надо сказать, что Шупут везде чужак, репка без корней, он бродит по свету как мейстерзингер, мастер-рисовальщик, и только посвистывает. Пьер Крижанич мне кричит, что я из Лики, и ничто иное, а лалы¹ меня взяли под свое крыло, эти, наши, а Белград, опять же, со времен Великой войны, – вампир, и высосет из нас всю кровь. Даже твой Захарие твердит, что я венгр. Я, правда, не знаю, дорогой мой, к какому берегу пристал. Так жалуется Шупут другу и листает «Время», посплюнявив пальцы, пока не доходит до парижской фотографии, сделанной в мастерской Милосавлевича, где и он одет для фильма, который от скуки снимает богатый итальянец, и в котором Шупут, разумеется, играет иностранца.

1 Уроженцы Воеводины.

Почерк неразборчивый

«Все наши коллеги, буньевцы¹, уже здесь, я надеюсь, что и тебя скоро отпустят, и жду тебя. М. Коньович вернулся из Оснабрюка, потому что его мать, как и твоя, буньевка», – так писал ему Миле Йованович в Ольберсдорф, с учетом лагерной цензуры, рассчитывая на новое предписание, в соответствии с которым из лагерей выпускали всех граждан и подданных государств сил «оси»², как и полукровок, заранее высказавшихся за нужную сторону.

Что вообще такое нация? Ненужный груз, спрашивал себя Шупут и сам себе отвечал, когда подписывал заявление о мнимом происхождении матери. Я слишком слаб для таких мучений, оправдывался он перед товарищами, меня убьет плесень на каменной стене. Мать не переживет, ведь так? Достаточно и призрачной свободы, разве можно получить больше?

Я же не клятвопреступник, если не верую. Так, Пали? Богдан искал хоть какого-то подтверждения и облегчения у застегнутого на все пуговицы полу-венгра, с которым целых одиннадцать дней он добирался из немецкого лагеря в Нови-Сад. Нас все ограничивает, рассуждал он, пока они шагали по целине и степи, спотыкаясь о замерзший дерн, – например, государство, семья, мораль, болезнь. Все это сплелось в сеть, в которой ты бьешься, как сом, она на тебя давит, ты едва дышишь. Единственно, что тебя спасет, – это иллюзия, представление о чем-то, картина. Тогда ты можешь быть свободным и под оккупацией, а потом,

1 Здесь: субэтническая группа хорватов в Воеводине.

2 Германия, Италия, Япония и их союзники во Второй мировой войне.

что значат большие или меньшие ограничения, мы всегда заложники, наше движение – это мираж, расстояние – просто оптический обман, фата-моргана, которая испаряется из песка, но убийственно, друг мой, смотреть на колючую проволоку, признай, – Богдан тянул Пала за рукав, не замечая, что тот спит на ходу, как лошадь.

Они проходили через села, где не горели огни, слышали, как лаяли собаки, рвавшиеся с привязи и ронявшие пену, они шли по утопавшим в грязи дорогам, серым и желтым, сквозь смерзшиеся заросли ивы, избегая дорог больших. Пойдем кружным путем, шурит; однако, – осеняло Богдана Шупута, и тут он внезапно вспоминал об этимологии своей фамилии, словно нашел ее тут, по пути. Но не пускался вновь в рассуждения о происхождении и имени (которые он, похоже, мог культивировать, возвращать и стричь, как ногти), скорее всего, потому, что от ледяного утреннего воздуха голый подбородок, губы и язык одеревенели и застыли так, что он не мог даже свистеть.

Возможно ли, чтобы картина исчезла, чтобы зрение мира угасло, спрашивал Шупут, аккуратно грызя горький, проросший картофель, найденный в какой-то обветшалой яме для хранения овощей, хозяина которой угнали в лагерь, или он умер. Когда какой-то английский шляпник от недостатка материала наполовину укоротил цилиндр (он вспоминал что-то, что давно читал, еще в Париже) и вышел на улицу в круглом котелке, половина Лондона шла за ним, с любопытством ожидая чуда, когда сумасброд из бездонного полуцилиндра извлечет рыбу и всех накормит. Скандал стал невоз-

можным, – сетовал наш художник, – если бы я сейчас разделся догола, на это не обернулся бы даже последний придурок, а если бы разделось полгорода, я уверен, никто не заметил бы, им даже вода не подарила бы отражения, – разочарованно заключал он.

Двенадцатого ноября они добрались до Уйвидека¹. Расстались на окраине города. Богдан протянул руку, но Павле его неожиданно обнял, поцеловал, по-христиански, в губы. Шупут утратил дар речи. Слушай, крикнул он вслед своей исчезающей модели, приходи ко мне на славу... Мы остались живы.

Посмотрим, ответил тот и ускорил шаг.

Не забудь, крикнул Шупут в туман, и собственный голос его напугал, двадцатого января, на Святого Иоанна Крестителя.

Наконец, дом, где бы ты ни был, выдохнул Богдан, слава тебе, Господи.

Было чисто и холодно, на Дунае начинался ледостав, святые были живы, дети на улицах продавали спички. Начиналась зимняя сказка, медвежий сон.

1 Венгерское название г. Нови-Сад.

Сумерки в порту на Дунае

Он просыпался утомленным, но ему ничего не снилось. Все дни были похожи друг на друга и почти ничего не значили, как приветствие на ходу. Он дышал неглубоко, влачил жалкое существование. Не важно, – утешала его Девочка из-за запущенной учебы, – и я поздно защитила диплом.

Книга о ней продвигалась, но как-то на свой, упрямый манер, дико. Коста постоянно встревал в рассказ, хотя сказать ему было нечего. Целыми днями он валялся на кровати и курил, хозяйка его укоряла из-за прожженных простыней. Он просовывал указательный палец в закопченные дырки и ковырялся в перьях. Ты не боишься, что тебя что-нибудь укусит, и ты останешься без пальца? Не сможешь стрелять.

Однажды он чуть не загорелся, уснув с непогашенным окурком между пальцев. Горим? – вбежала Девочка, встревоженно приносясь. Он облизывал обожженную кожу и молчал. Смотрел на нее исподлобья, словно она виновата. Герострат с седой писькой, прекрасное было бы название для книги, не будь этот город полон сплетников.

Передают ли что-нибудь другое после ремонта, – он показывал на телевизор. Свадьба, – ответила она серьезно, не отрываясь от экрана. Он придвинул кресло.

Ты когда-нибудь снимаешь этот шлафрок, – Девочка имела в виду пеструю тряпку, извлеченную со дна ее скрипучего шкафа. Он посмотрелся в зеркало, которое словно бы измеряло их своим взглядом.

С шарфом и длинной шеей я выгляжу как ворон-стервятник. Щиколотки голые, их у меня словно почти и нет, такой уж я уродился. В тени моего крючкова-того носа можно выпасться. У кого-то нет задницы, у кого-то зубов больше, чем надо, а я мог бы спокойно упасть на какое-нибудь знамя или на антенну, ощипанную, как кактус, и расправить оборванные крылья.

Он потянулся за пультом, нащупал разбросанные газеты, под которыми сгрудились пресс-папье, пепельницы, все, что угодно, кроме пульта. Коста посмотрел вправо-влево и увидел, что пульт прижат к дивану хозяйкиной ладонью. Она нажала кнопку громкости (хотя слышно было вполне прилично), а это означало, что надо было замереть, как мышь под метлой. Вот черт, его любимое развлечение – терзать пульт от телевизора! Он смотрит все каналы одновременно, перескакивает с одного на другой, туда-сюда. Как меня это нервирует, скрежещет Девочка, Как это эгоистично, он обижен и готов из мазохистского упрямства, как на каторге, посмотреть все, что она выбрала. Но что за сцена! На этом он и сам бы завис. О как, сам Аркан¹ женится, прямой репортаж со свадьбы, у-ю-ю!

1 Желько Ражнатович, известный также под прозвищем Аркан (1952–2000) – сербский военный и политический деятель с криминальным прошлым. В данном случае речь идет о бракосочетании с популярной эстрадной певицей Светланой Величковиц, известной также под псевдонимом Цеца. Свадьба состоялась в белградском отеле «Интерконтиненталь», прямую трансляцию вел телеканал TV Pink.

Улыбающийся человек, с лицом, которое не может постареть, пытается из винтовки попасть в довольно большой обруч на коньке крыши, такой обычай (все теперь страдают по обычаям), чтобы добиться невесты, звезды. Стрелок несколько раз промахивается, и всем неловко, но он озорно говорит, что не привык стрелять по обычной мишени. Девочка заразительно смеется, словно она там, среди гостей, подружка невесты или счастливица, поймавшая букет, который невеста, не глядя, бросила в лес женских рук, оборачивается к нему, наверное, думая, что он не понял, в чем соль, что до него не дошло, и начинает объяснять: не по бумаге, а по живому, как ты не понимаешь.

Я слышал, что его бойцы в Боснии проверяют у мужчин национальность, заглядывая им в штаны: факт, что, если кто-то обрезан или нет, — единственный аусвайс в жизнь, только кожица на головке члена бережет кожу на голове.

От кого ты это слышал, раздражается Девочка, от какого-нибудь кастрата? Молчи.

* * *

Единственное, что я знаю точно: Девочка живет в этом доме не с незапамятных времен. Если уж выведывать, то нам следует начать с особняка на Площади Освобождения. Мы не должны также забывать ни позднее студенчество в Сараево, ни ее короткую счастливую супружескую жизнь с профессором Гроховяком в том же городе, в похожем особняке эпохи австрийского Сецессиона. Потом одноэтажное, глухонемое здание на улице Маршала Тито, в Сремски-Карловцах,

где она жила одна до пожара. Наконец, этот дом, где мы сейчас, я мог бы обойти его весь с закрытыми глазами.

С домом я знаком дольше, чем с хозяйкой. Когда-то он был во владении Джордже Яйчинаца, удивительного создания, которое в юности меня по-сократовски совращало. Вместе с потерявшимся котенком, за стеной, нависавшей над одичавшим кустарником, обретался и я, мягкосердечный изверг, и какое-то время редко оттуда выбирался. Яйчинац был предатель, говорят, он водился с венграми, а после той войны, слабый и вероломный, во время одного допроса он схватил остро отточенный карандаш следователя, с графитным кончиком, который наверняка бы оказался в мозгу, и воткнул его себе в нос.

Факт, но он выжил, был прикован к инвалидной коляске, с отнявшимися ногами, лишенный имущества и гражданских прав. О нем заботилась служанка, которая его и любила. Она была единственной связью между домом и остальным миром, если не считать бродячих кошек и меня. Да, и еще одного цыганского барона, который приходил время от времени и выходил, спрятав под пальто что-нибудь антикварное, купленное за гроши. И у всех нас был строго назначенный пароль для узнавания, что-то вроде подписи, которую выстукивали азбукой Морзе, дверным молотком, после чего тяжелые двери легко открывались.

Однажды я, задумавшись, ошибся и услышал: «Сию минуту, дорогая!» Дверь открыл сам господин Джордже, стоявший на своих ногах, в метрах от инвалидной коляски! Он впустил меня внутрь, не произнеся

ни слова. Я замер, утратив дар речи, а хозяин спокойно подошел к коляске, сел в нее, словно ничего не случилось, словно пересказывая старый сон, и я больше ни в чем не уверен. Женщине, которая сразу же появилась с корзинкой в руках, он отпер дверь, не сходя с колес. Я не пытался что-нибудь понять. С благодарностью принял предложенный травяной чай, успокаивающий взбудораженный желудок.

Он давал мне уроки химии, истории искусств и литературы. Тот паннонский пейзаж, который я везде таскаю с собой (сейчас он кнопками прикреплен над кроватью), известного Антала Ковача, 1941 года, это его подарок, который я получил, когда он закончил давать уроки. Это, и еще драма, которую он написал, не имея возможности ее опубликовать, и его разрешение напечатать под моим именем. Двери дома Джордже Яйчинаца после окончания уроков закрылись для меня навсегда. Когда я с ним познакомился, с ним и его женой, они уже были далеко не молоды, долгие годы тихо угасали, может быть, я повел себя не так, как надо, может быть, сказал что-то не то, а, может быть, жена стала тяжело болеть, в общем, уроки закончились. А еще, прогуливаясь и невинно шпионя, я видел того молчаливого цыгана и еще каких-то типов, исчезающих за дверью, глухо переговаривающихся на смеси сербского, цыганского и венгерского. Я не хотел себе признаться, что при этих встречах всегда чувствовал ревность. Я слышал, что под конец жизни Джордже Яйчинац все продал и раздал цыганам, оказался в каких-то трущобах с экзотическим названием, вроде Бангладеш или Шанхай, которые росли вокруг городской

свалки, что его убили из-за карманных часов, и ему пришел конец в смрадном мусоре. Чего только ни говорили.

И хотя я все это знал, когда постучал газетой в дверь к Девочке, все равно надеялся, что мне откроет именно он, я вспомнил пароль, похожий на стук дятла, безошибочно повторил его, но этот ключ подходил и к другим замкам.

Вы давали объявление? – спросил я.

Картины из жизни
Богдана Шупута (V)

Набережная Дуная

– линогравюра, 20 x 15 –

Введение в свидетельство о смерти

Действительно, у Эвицы больше не было сил терпеть грубиянов, и вскоре вместе с сестрой она переезжает куда-то на Дунай, недалеко от офицерского дома, но ближе к мосту Королевича Томислава. Теперь надо представить себе тихий домишко, на крыше поселились голуби-вахуры, с ядовитыми коготками, залетающие на чердак и вылетающие из него сквозь два ровных прямоугольных отверстия на фронтоне. Болезненного хозяина дома почти никогда не видно. На окнах опять множество легких цветов, тени иные, да и матери стало легче. Дунай прямо здесь, в жару можно, образно говоря, отодвинув цветочный горшок, опустить в воду босые ноги.

Богдан все еще учится живописи в Белграде. Приезжает, когда получается. Вот он, в открытом окне, обнаженный до пояса, мышцы напряжены, на коже пупырышки, как при ознобе (осень), после утренней зарядки, немного запыхался в ритме вивальдиевского бриза. Река желтая, вода поднялась, Телп и Лиманы можно легко спутать с Венецией или с затонувшей Атлантидой.

Богдан озабоченно прислушивается к шуму воды и закрывает окно, слышав шаги матери, и поэтому

не видит, как Пал шагает по берегу в грязных сапогах, с какими-то полусумасшедшими родственниками жены, которые его на ходу колотят. Пал не обращает внимания, спешит, тянет за собой залатанные сети и примитивные адские капканы на крыс. Оброс желтой бородой, не брился с неделю. Он безработный, и потому решил поохотиться, вместе с этими, что его кроют на все корки, на ондатру (ее полно в старом канале, куда они и направились), ловит, свежует и продает окровавленные шкурки и отрубленные крысиные хвосты. Живет с отцом, но отношения плохие. Останавливается, одной рукой сворачивает сигарету, а те двое олухов валятся в грязь. Богдан закрывает створки окна. Пал поднимает глаза на скрип. Они друг друга не видят. Вся сцена производит впечатление постановочной.

(Зимой сорок третьего года Палу опять придется выйти на реку, потому что лишняя вода, плещущаяся в желудках детей, уже не помогает обмануть голод. Он будет раскалывать лед и входить в воду до подмышек, будет тянуть сеть руками, вот способ что-нибудь поймать, и, в первую очередь, скоротечный туберкулез. Какие-то дети, прямо через дорогу от старой квартиры семейства Шупутов, будут кататься по льду, какой-то ребенок почти провалится, когда ослабеют морозы. Но в том доме больше не будет диких голубей. Или их приручат, или кто-то передует их голыми руками. Это мы рассказываем, чтобы нас не упрекнули в том, что мы пропустили одно время года, что пластинку бесконечно заедает).

Наводнение в Нови-Саде

В марте сорокового года в Нови-Саде случится страшное наводнение, люди будут сидеть на черепичных крышах и дымовых трубах, на работу добираться на лодках, рыбы будут кусать детей за уши. Тем летом ударит страшная жара, доводящая до обморока. Йовановичи уедут в свое загородное имение с виноградником, у Шупута перед глазами расплывется лицо Девочки, когда от жары он потеряет сознание.

Наверное, уже лет пять-шесть прошло, как я впервые появился у вас, – рассказывал он в легкой лихорадке.

Я помню, – скажет Миле и выжмет воду из салфетки в траву, – какая тогда бушевала гроза.

Мы боялись, что ветер сорвет дом с места и унесет его в неведомую даль, правда? А когда звезда взошла, и я вернулся в Нови-Сад, то застал дом по крышу в воде. Потоп был не такой, как этой весной, залило несколько соседних домов, но какое в том утешение несчастным? Мать и тетка, на столбе с телефонными проводами, обнявшиеся и мокрые, дрожащие.

Поспи немного, – успокаивал его друг. – Тебе наверняка станет лучше.

Большая Медведица и Малая Медведица

Богдан поднимается по неразмеченной дороге на виноградник Йовановичей. Со скоростью тридцать километров в час на него летит, как призрак, пустой автомобиль, черный, как безымянный рыцарь. Молодой человек отпрыгивает в сторону. Автомобиль проезжает мимо и с грохотом уносится. Чудо ослепляет Бог-

дана, он даже не успевает испугаться. Поднимается из придорожной канавы, куда слетел, поскользнувшись, смотрит вслед машине, которой никто не управляет, встает на цыпочки, словно собираясь заглянуть в колодец и увидеть за рулем свое лицо. Вздрагивает, и вся картина идет волнами, мутнеет.

Сплевывает, делает пару шагов, все еще глядя вслед автомобилю, и сталкивается со старым Ловро, «прислужой за всё» у Йовановичей, сторожем виноградника, а по необходимости шофером, механиком, экономом, мажордомом, мечтателем. Ловро кашляет, пыхтит, как самовар, с зубным протезом в руке, поскальзывается, в изнеможении спешит за взбесившимся «мерседесом», словно от него сбежал гипсовый конек или невеста в первую брачную ночь. Они налетают друг на друга (взъерошенные петухи!), уф, ой, вскрикивают оба. У Ловро падают из рук зубы.

Это она, чертовка, – туманно объясняет Ловро, от него этого ожидают, он смотрит в землю, все еще размахивая руками, крупный экземпляр флюгера, не зная, что делать – бежать за автомобилем и остановить его, ухватив за задний бампер, ощупать полегшую траву, ладонью прикрыть дыру в голове.

Что ты такое говоришь, – спрашивает Богдан сдержанно, все еще в полушаге от бедолаги, но строгий к себе. Мыском запыленного ботинка (он долго шел вдоль стерни) переворачивает сточенную Ловрину челюсть, кажется, сделанную из обожженной глины, она на миг блеснула, кусачая и живая, как рыба, выброшенная на берег, механическая ухмылка кого-то, давно ушедшего.

Старый слуга благодарно улыбается, обнажая беззубые десны, на которых угадываются болезненные потертости, тычет указательным пальцем в сторону автомобиля, исчезающего за холмом. – Смотри, как я ее научил, – неразборчиво бормочет он. – Научил? – переспрашивает Шупут, – что это я, сам с собой разговариваю. Оба вздрагивают от звука автомобильного клаксона.

Теперь «мерседес» стоит, чуть набекрень, вплотную к дороге. Водительская дверь открывается, не быстро, и двое мужчин могут видеть две высывающиеся ноги с голыми щиколотками (как рожки острой улитки), а потом и девушку с каштановой головкой, одиннадцати-двенадцати лет, она выбирается из машины и задорно спрашивает: вы видели, видели?

Дивно, барышня, – кричит Ловро в восторге, – вы ехали, как взрослая.

Вы могли меня убить, – хрипло произносит Богдан и, чтобы скрыть вдруг появившуюся дрожь, начинает отряхивать брюки. Девчушка обдаёт его сердитым и разочарованным возгласом. В гневе стремительно несется под уклон, не останавливаясь на озабоченный вопрос брата, идущего ей навстречу.

Все в порядке, – улыбается Богдан другу, протягивая ему руку и подталкивая в тень разросшейся акации. – Дай-ка, я на тебя посмотрю.

И пока они собирают разлетевшиеся листы бумаги, похожие на червей тюбики с красками, оцетинившиеся кисти и все те мелочи, по которым мы узнаем художника, погруженного в природу, все окрест вдруг погружается во мрак из-за плотного облака, спол-

зающего с Банстола. Все происходит так быстро, что крутящееся колесо упавшего велосипеда не успевает остановиться.

Ничего не случилось, господин Миле. Просто Девочка научилась летать,— спешит Ловро к автомобилю.

Надо же, — улыбается Миле, запихивая краски в карманы легкого пиджака,— а я уж не знал, что и подумать.

И в тот момент, почти звеня, начинает идти дождь.

Урок. Обнаженная натура при вечернем освещении

Как он ни старался, книга о Девочке получалась нескладная, беспорядочная, совсем не такая, какой он ее задумал. За что ни возьмется, мнет в ладонях. Как только сядет за стол, у него начинается чесаться там, куда он не может дотянуться.

Например, он спрашивает ее про романы. Она улыбается, выпускает сигаретный дым ему в лицо, начинает рассказ о муже – старике, о стариках. Сначала все умерли. Захарие своей смертью, без извещения, спрятанный в подвале от облавы этажом выше. И такая умиротворяющая, обычная смерть кажется еретической, даже как-то несерьезно, на фоне такого количества насильственных смертей. (По дню смерти, а не рождения, он был ровесником Шупута, близнецом). Они слышали снизу топот сапог, выкрики, и как от холода лопаются стручок акации, успокаивали старика, который, потерявшийся внутри тулупа, прилег на какие-то ящики и всхлипывал. Потом затих, уснул, а когда они встали, просто откатился в сторону. Умер во сне, спокойно. Снилось ли ему что-нибудь? – Это можешь придумать, – Девочка великодушна, – только смотри, чтобы все сложилось красиво, не коряво.

Потом умер отец, полярной ночью, которая длится до сих пор, после войны, внезапно, не болея, вон за тем

столом. Прислуга вошла, вскрикнула – на столе лежали два черепа. По крайней мере, он не видел грабежа, но спустя столько лет это звучит не безропотно, не горько, а просто отстраненно, едва слышно, смиренно, как со дна Диогеновой бочки.

Потом чудесного Мило, уже в пятидесятых, на улице в Титограде убил какой-то ненормальный, и Девочка сама доставила тело в цинковом гробу, на поезде, который страшно опаздывал.

Она опять прервала учебу на медицинском факультете в Сараево, чтобы вернуться домой и ухаживать за *татап*, которая так долго, долго умирала, словно ехала километры и километры на неутомимой русской тройке. Рак выел ей душу. Какие боли она испытывала, – пыталась представить себе Девочка, – когда читала мои восторженные, болтливые письма, в которых я беспорядочно описывала Сараево, амальгаму Турции и Австрии (в воде шипит, но не тонет), город, который я полюбила еще во времена нашей с Мило поездки, когда мы навещали Шупута-солдата, а потом все больше соскальзывала в любимый рассказ о работе с со Станиславом Гроховяком (когда-то он был научным руководителем Мило в Загребе, а теперь стал моим идеалом в Сараево), как уже ему ассистирую и вычерчиваю схемы тел для его учебников анатомии (я всегда ловко управлялась с карандашами, сестричка Богдана). Мать никогда мне не отвечала. Где-то они, наверное, здесь, мои письма, перевязанные сиреновой ленточкой, если не испортились от сырости... Если мы их не найдем, ты реконструируешь, воссоздашь, словно кто-то кому-то пишет, с почтением и доверительно, с нежностью,

но без сентиментальности, ну, ты сам знаешь, ты же мастер... Слушай, а потом ты мог бы написать что-то лично для меня, письмо матери Девочке, чтобы у меня было, если тебе это не слишком трудно.

И придет письмо в продолговатом конверте, я узнаю каллиграфический почерк Станислава (кто говорит, что врачи пишут неразборчиво, нечетко), вскрываю конверт: *приезжай*, прижимаю его к животу, начинаю целовать клейкий край конверта, зная, что он его лизнул. Снимаю траур, запираюсь на ключ, ключ прячу под камень, делаю шаг назад, чтобы ключ забрать, вспомнив, что больше нет никого, кто мог бы неожиданно прийти. И стало мне так нехорошо, словно я этот ключ проглотила.

* * *

Поверишь ли, что и сейчас я просыпаюсь молодой, с сильным сердцем? И мне требуется время, чтобы понять, что все прошло. Утро солнечное, ледяное. Протрешь глаза и не знаешь, перед тобой замерзший фонтан или минарет. Очень холодно, на улицах полно замерзших собак и кошек. Идешь и спотыкаешься о них, как о заледеневшие кротовьи кучки. Холод проглатывает звук. Словно скользишь по картине вниз или вынырываешь из воды. Интересно, как выглядят органы чувств, спрашиваешь себя, стучишь зубами от холода.

Комната скромная, опрятная. В тазу, который отражается в зеркале комода, вода для умывания замерзла. Я лежу под периной, высокой, как сугроб, читаю Ремарка! Только лицо выглядывает, и шелест, когда переворачиваю страницу. На колючем солнце сверкает –

«Триумфальная арка». Какой теплый Эрих Мария! Какой милый доктор Равик, горький и опьяняющий, словно загадочный ликер. Но зачем еще больше таинственности? Какие они пьют напитки и никак не могут утолить жажду: кальвадос (это имя для звезды), абсент (роза забвения, лекарство для полного избавления от боли)... Можно опьянеть только от благозвучия. Станешь пьяницей по национальности.

Или я опять сплю. Вчера вечером мы немного выпили, а мой желудок, моя двуличная плоть (вопреки желанию) вообще не переносит алкоголь (даже в еде или в шоколадных конфетах), я полагаю, что это аллергия, если судить по соматике, или же глубоко сидящее отвращение к иррациональному, к незащищенности и забвению, которое приносит с собой пьянство, и страх полета, страх головокружения.

Я лежу с распухшим языком, мне нехорошо. Почему-то надеюсь, что плотно зажмуренные глаза, эта неудобная, слишком напряженная поза, с искривленной шеей, с напряженными мышцами плеч, с согнутыми ногами и с руками под головой, будто они чужие, – что эта покаянная поза, которую я сама себе навязала, принесет хотя бы некоторое улучшение, легкое отупение от похмелья. Но так я могу только слышать еще более громкий стук своего сердца в подушке, и это меня беспокоит. Засыпаю, в перерывах между стыдом, тошнотой, мучением. Снится что-то неопределенное. Слышу, скорее, чувствую, что осторожно открывается дверь, ощущаю, как оттуда струится воздух, словно кто-то на руках внес немного свежего света, нет сил убедиться, а вдруг это вор, он мог бы унести все, кроме кровати,

я и пальцем не пошевелила бы, не пискнула, а потом ощущаю приятные запахи, гармонично чередующиеся, продиктованные лаской – кофе и булочки, с близкого расстояния, аромат розы у лица (этот аромат и сладость так сильны, что я могу их увидеть, как в пантомиме), и, наконец, его запах, чистый, юношеский, изысканный, доносящийся от его усов, когда он наклоняется и будит меня поцелуем, поставив в ногах поднос с завтраком, дав мне подкатиться к розе. Больше не слышна музыка, открываю глаза, детство прошло.

Доктор Станислав Гроховяк, автор нескольких академических учебников анатомии, аскет, католик и патологоанатом, умер в Сараево (где оказался после Загреба, Парижа и Львова) 3-го февраля 1956 года, в день рождения своей последней жены (ей исполнился тридцать один год), не дождавшись окончания медового месяца. По соображениям приличия и из пиетета следует пропустить издевательские и злобные комментарии о «сладкой смерти», о непосильных любовных трудах, потому что опытный молодожен и его бывшая студентка прожили отпущенное им краткое время их брака в полной гармонии, во всех смыслах. Только лгун или собака сказали бы, что они не были красивой парой, несмотря ни на что. Не было тут ни любви, ни брака по расчету. Причина смерти банальная: кардиомиопатия. Доктор, как обычно, подбривал бороду, глядя в зеркальце, и оно просто больше не затуманилось. Зеркальце стояло на столе, прислоненное к корешку какой-то немецкой энциклопедии, и в нем ясно отражалась лысина покойного, правильной формы, как тонзура, словно нарочно придуманная для кропотливого френолога.

Разумеется, в данном случае неуместны любые ассоциации психоаналитического толка, к которым склонны поверхностные люди. Мы серьезны, поэтому не будем исследовать, кто кому мог бы быть отцом, а кто – матерью, а пересказ чужих снов могут выслушивать только жалкие субъекты, ненавидящие сами себя. Любая любовь – сумасшествие.

* * *

Врет она, повторяла Мария, было не так.

Как ты можешь с уверенностью утверждать, ведь это было так давно? Как ты можешь быть уверена?

Я ее знаю, – девушка незаметно краснела. – Она такая. Это не патологическое вранье, ее проблема более мелкая. Она не лжет сознательно и во всем. Она *интерпретирует*.

Ты не завидуешь? – пытался угадать Коста.

С чего бы это? Думаешь, со мной что-то не так?

Не знаю, а сколько раз ты приходила сюда, ложилась на мою кровать, говорила без умолку, но не позволяла к себе прикоснуться?

Что ты о себе воображаешь? Сбежал из дому (через две улицы!), забился в эту мышиную нору, снюхался со старухой, ты ни на что не годен. Ты мог писать о ком угодно из живущих по соседству. Чем ты вообще занимаешься? Когда я заглядываю в твои бумаги, то вижу только каракули, а ты их у меня отнимаешь, словно я могу что-то испортить. Зачем нам друг к другу прикасаться!

Схватив свой текст «Картины из жизни Богдана Шупута», – его, лежащего на столе, перелистывал

сквозняк, – Мария выбежала из комнаты. Отсюда только бегут, это уже становится симптоматичным, – вздрогнул молодой человек, не вставая, но он и сам себе не признался бы, что протянул руку к девушке, и застыл ненадолго, в той позе пустой вешалки, как опозоренный оратор, «душа компании», которого собеседник, не дослушав анекдот, прервал колкостью.

Что он, собственно, хотел сказать? Ах, да. Действительно, в том, что касается его никчемной работы, Мария была права. Например, Девочка выключила телевизор и рассказала ему историю о счастливом Сараево. Готовую историю, складную. Надо было только записать и разбросать по ней знаки препинания и спасения. Ничего сложного, ничего такого, что грызет, разве не так?

(И, вообще, было неважно, что это только ее проекция, положила ли она в чай слишком много сахара, надо ли после такой тоскливой мелодрамы ополоснуть рот). Но этот невозможный человек сел за свой хлипкий стол, изгрыз два карандаша и написал, слово в слово, вот это:

На всем небосклоне я умею распознать только Большую Медведицу. Остальные созвездия слишком противоречивые. Я не вижу в этой звездной мелочи никакого порядка. Не сомневаюсь, что он существует, но я покривил бы душой, сказав, что я его вижу. Рака, Скорпиона, Стрельца или Водолея? Исключено. Только светлячков, прыгающих у меня перед глазами, подчиняясь капризному диктату зрительных нервов. Только ясными ночами протягиваю руку и говорю тому, кто рядом со мной (если кто-то есть), смотри, Большая Медведица! А, может быть, Малая.

За свою жизнь я стал свидетелем солнечного затмения (или лунного, я уже не уверен), и однажды, во время сильного дождя мне на голову из некрофильской тучи упала лягушка. Это, можно сказать, моя единственная связь с небом.

* * *

Ему надо было просто сосредоточиться и написать: «Сначала умер Богдан, потом Захарие, потом папа, Миле, моя страдавшаяся мать, *dear* Станислав. Но так ли им земля пухом, насколько полной была их жизнь?» И это было бы вполне уместно, под анестезией, он выполнил бы договор. Не мог.

Я проклятый консерватор, выписывающий Богородицам на фресках подбородки, и вытирающий окровавленные руки рваным полотенцем. Может быть, мне стоит посетить психиатра? Или какого-нибудь солидного профессора логики? Или логопеда (если это то, что я хочу сказать).

Господа, вот я, я – подлец. Высовываю язык, выворачиваю веки, обнажаюсь. Выслушивайте меня, простукивайте, измеряйте, диагностируйте. Спокойно делайте мне укол. Можно два. Но позвольте рассказать вам о моей жизни.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (VI)

Парижские картины

– холст, масло, 54 x 73 –

Париж вновь заселяется

Если исходить из перспективного, но, по правде говоря, скоропалительного высказывания Гертруды Стайн «Для меня Париж там, где двадцатый век», тогда можно более милосердно и благосклонно отнестись к юношескому патетическому возгласу Шупута: «Ах, Париж, Париж, я вернулся из рая!»

*Чрезмерное воодушевление юного провинциала у врат так называемой столицы мира понятно. А теперь мы на очереди. В том, что маленький художник мечтает о Городе света, разумеется, нет ничего эксклюзивного, это один из снов, который снится любому, как сон о полете или стыдный сон, о собственном го-
лом теле. Нашего Шупута будит шум большого города, он с радостью слушает выкрики газетчиков (даже, когда случилась паника из-за кризиса в Судетах), он наслаждается утренней поэзией газетных объявлений и газетной прозой, А теперь на очереди мы, шатающаяся башня Сен-Жак, маленькая Триумфальная арка!*

Рассказывая дома о Париже, Богдан всем показывает только удачные картины. Замызганные, тусклые, в пятнах, он складывает на дно картонного чемодана, прячет под ковер. Неприятный эпизод с ночным так-

систом, который на безобидной улице резко затормозил, выскочил из машины, набросился на невзрачного прохожего, бешено его избивал, а тот закрывал голову руками, не пытаясь сопротивляться, хулиган орал, что никто не смеет быть в долгу у брата Гайто и сквернословил, похоже, на русском, и Богдан, которого ужаснуло мгновенное преобразование жовиального шофера в дикого зверя, едва выбрался из автомобиля и сбежал без оглядки, сопровождаемый леденящими душу сигналами машин (они скопились за такси, мешавшем проезду), – вот такое событие, например, Шупут не отваживался даже вспоминать.

Хотя иногда в голове у него мелькало воспоминание, с тошнотой от повторяющегося чувства страха, как и тогда, когда он стоял в тесной подворотне, прислонившись к стене, потный и оцепеневший, и пытался успокоить сердцебиение. Потом он еще долго с опаской выходил на улицу, боясь, что среди миллионов, слившихся в толпу, его узнает тот полоумный таксист и взыщет долг, потому что Богдан, в ужасе убегая, совершенно забыл оставить на сидении хоть какую-нибудь умиротворяющую купюру.

Но он не столько боялся за себя, сколько его тревожила жертва, которая не защищается. Ведь и тот грешник из сумрака – наверняка не лик с иконы, почему он так пассивно принимал суровую кару, обрушившуюся на его голову, даже если наказание было заслуженным. Это Богдана тревожило, сцена бессилия. Хотя в том, что касается драк, он был как девочка. С другой стороны, он сам себя убеждал, что уж он-то, не дай Бог, в подобной ситуации, оказал бы какое-нибудь сопротивление, дал бы отпор, показал бы зубы.

Это была одна из его картин, выученных наизусть, которая никогда не материализуется, даже по памяти, из головы, как «Карловацкий виноградник Йовановичей» или «Парижская опера», с разметкой красками, как у Ван Гога.

*Однажды, когда он будет провожать из своей новисадской мастерской хрупкую натурщицу, ему заступит дорогу хулиган, в надвинутой на глаза кепке. Это мой муж, *istenem*¹, – испуганно шепнет Эржебет. Но, прежде чем Богдан успеет даже раскрыть рот, громила крикнет *fogt meg*², из темноты выскочит псина с оскаленными клыками и прыгнет Шупуту на грудь. (Бедняга побаивается крупных собак, а они это чуют за километр). Щелканье в пустоте собачьих челюстей совпадет с тем сверкающим мгновением, когда Богдан потеряет сознание.... Ладно, и обморок своего рода сопротивление, последнее средство обороны.*

Богдан, что с тобой? – услышит он издалека, почувствует мокрый язык на лице, откроет глаза и увидит над собой нос черной собаки и милое лицо Девочки. Улица закончится. Горластые газетчики будут продавать мир. Никто не откликнется на наше объявление.

Любезная госпожа Йованович,

Обращаюсь к Вам как матери моего ближнего, моего брата и (не осмеливаюсь) – как к своей матери. Как Вам известно, моя любовь к искусству безгранична, а здесь мое обучение живописному ремеслу подошло к концу, и я учусь только повторению, я намереваюсь

1 Боже мой! (венг.).

2 Взять! (венг.).

поехать в Париж, и там приобрести «блестящую» специализацию, там, по крайней мере, для меня, – сокровищница всех знаний о живописи.

И потому я, дорогая госпожа, набрался смелости нижайше просить Вас о крупном деле. Вам наверняка известно, что мое материальное положение весьма скромное, я ведь из тех, про которых говорят, что и псу не за что цапнуть. Сирота без отца, бедная мать-вдова, и все прочее, дальше можно все свести только к жалобам. А еще, к тому же, по жребию судьбы мне выпало ремесло, которым не заработаешь, если ты не счастливчик, которому повезло поучиться за границей и прославиться.

Узнав, что Вы каким-то образом знакомы с нашими благородными и состоятельными согражданами, готовыми помочь бедным студентам в их намерениях совладать с наукой во всех смыслах, за границей, чтобы потом честно послужить Отечеству и всему Сербству, любезно Вас прошу порекомендовать меня кому-нибудь из них, на предмет получения малой стипендии для поездки в Париж, чтобы там скромно проживать, прилежно учась и стремясь к наилучшим образцам.

Вашу семью целую, и Мило, и Девочку, я весь ваш. Знаю, что Ваше сердце великодушно, и прошу покорно об этом не забывать. Остаюсь с надеждой,

Преданный Вам,

Б. Шупут.

* * *

Мать мне ничего не говорит, – смущается Мило, – но, боюсь, ничего не получится.

Как – ничего? – Богдан неприятно удивлен, весь сжался от наихудших подозрений. – А ты показывал ей картины, особенно ту, «Вид на Рибняк из Нови-Сада», ты ей точно сказал, что я дарю вам это от чистого сердца?

Сказал, конечно, что ты, – уверяет его друг и скрепчивает пальцы.

Как же тогда – «ничего», – не может поверить Богдан.

Не знаю... Видишь, какие времена, людям ни до чего... Наверняка и отец, и дед тут «помогли».

Конечно, они меня считают цыганом, – с горечью произносит Шупут. – Голытьбой и пустым местом.

Да нет же, – утешает его младший Йованович, его голос полый и болезненный к прикосновению.

* * *

В Париже Богдан Шупут был три раза, и если все сложить, то там он провел год своей горькой жизни. Те десять сентябрьских дней в тридцать седьмом, с коротким сном в отеле «Одеон», оказались настоящим началом инфекции. «Инкубационный период» продолжался до февраля тридцать восьмого, его торжественно проводили белые женские платочки и в мужских руках растрепанная газета «Дан». (Поскольку Шупут был сотрудником, то он устроил так, что вышла заметка, где говорилось, что художник «путешествует за свой счет, без чьего либо вспомоществования»).

(В короткой предыстории можно написать, что незадолго до этого Шупут знался с очевидно левой «Студенческой матицей», хотя сам был аполитичным.

Богдан, ну зачем тебе эти бездельники и гуляки, – качал головой Йованович.

Миле, мне до политики нет никакого дела, – уверял Шупут друга. – Я этого избегаю, мне бы стипендию, Париж, Сезанн, правда!)

Комната в Латинском квартале, «Grand Hotel de Suez», и опять разрушительное, инфантильное одиночество, для которого надо было иметь сильные ноги.

«Пиши мне поскорей, а то я сойду с ума». Эту фразу Миле Йованович опускает, читая письмо от Богдана Девочки, матери и уснувшему Захарие. Он пропускает еще некоторые фразы, в которых прочитывает укор бедняка, или появляется намек на женщину («Все обычно говорят, избегай наших, что надо найти какую-нибудь француженку. Это непросто, особенно, если не знать языка».)

Такие вечера чтения все чаще в доме Йовановичей. Шупут неутомимо описывает всё и вся, и после того, как сблизился с земляками. «Счастье, что общество немногочисленно, они старше меня и богаче. С ними и Педжа Милосавлевич, наш, один из лучших. Он мне подсказал, какие краски хорошие, что темные ядовиты, и разные другие вещи». Эти мелкие строки Миле Йованович припомнит позже, когда Богдан в имении будет писать Девочку, нетерпеливо приговаривая: Мне Милосавлевич, Педжа, говорит, что патина – это как едва слышимый тон, но, однако этот звук слышен многим поколениям, это он как бы мне, а я ему, что он отлично умеет патинировать рамы!

Посмотрите-ка на нашего Богдана, – подумает друг, – как он повзрослел.

Вечно сиюзу без денег и почти не ем, и когда уже теряю всякую надежду, меня приглашают на сытную вечеринку или какое-нибудь угощение. Я едва дотянул до 28-го, а один мой приятель, юрист, позвал меня на свою свадьбу. Постой, «... и родила она Первенца...»¹, и мы ходили в Pavillon Dorphine в Булонском лесу... По ночам я везде, лучше всего – кабаре «Boule Blanche», здесь я слушаю негритянский джаз, посланный прямо с неба, нот нет, и они не смотрят друг на друга, а шлягеры так и летят. А в «Casino de Paris» я хожу слушать Мориса Шевалье! И день – тоже авантюра. Так, однажды (видел собственными глазами), просто прогуливаясь перед Нотр-Дам, Глиху, художника, двое агентов увезли в штатском на полицейской машине, а потом, после долгой поездки по Парижу, – забирали всех без разрешения на пребывание, – он провел ночь в кутузке. Едва отпустили, после вмешательства посольства. Потом он мне показывал рисунки из тюрьмы. Слава Богу, ему не поставили клеймо. На следующий день мы с Лубардой побывали у «парижского цирюльника», кто знает, может быть, ловят за длинные волосы! А причина в том, что я там писал только крупные и блестящие вещи, а не как Люба Иванович, курятники и лачуги, – старый город, Миле, истина простая, и тебе она известна: этого мне хватает и дома. Я же в Париж не за нищетой приехал...

Тут старого Захарие будит зуд, подбородок у него во сне как-то искривился! Всё ему не так, юноши ушли дальше к холму, и их разговор больше не слышен.

Этюд к неизвестной картине с боснийским пейзажем

Только завистник сказал бы, что Гроховяку столько лет. Любой бы подивился гладкому, как морская галька, лицу, темным, без седины, волосам, ангельским ладошкам. Разумеется, злобный завистник мог бы опорить любое достоинство: кожу без морщин приписать неумеренным количествам пива, а пивные дрожжи кожу натягивают, полное отсутствие седины объяснить духовной и нравственной толстокожестью, или, более приземленно, регулярным окрашиванием, а красные ладони провозгласить некой тайной, как у Дориана Грея. Но все это сплетни, дьявольские выдумки, добрая душа не принимает их во внимание.

На Девочку самое сильное впечатление производило то, что любимый до самого конца называл ее на «вы», даже когда просыпался рядом с ней. Он отворачивался, когда, встряхнув головой, она распускала волосы, или, стоя перед ним, снимала ночную сорочку. Он гасил свет. Никогда не произносил ни слова. Это, надо сказать, ей не очень нравилось, такая осмотрительность, но она быстро находила оправдание в его любовном пиетете, в романтической версии джентльменства, которая была у него в крови и в доме. И иступленно

объясняя это самой себе, как кому-то другому, она ловила в каком-нибудь стекле или зеркале свое отражение, которое страстно, как сумасшедшее, поджигает губы.

Вы похожи на брата, с умилением замечал Гроховяк, стесняясь, садился на край кровати, глядя ее по растрепавшимся волосам. Девочка потягивалась, какая-нибудь косточка хрустнула, щелкнула, словно все тело вот-вот сломается.

У вас дивные руки, произносила она чуть хрипло и игриво. Однажды, чтобы сократить долгое ожидание, она смотрела фильм, в котором пострадавшему пианисту пришили ладони убийцы, и так он, в лунатизме, стал непорочным злодеем, потом она не могла уснуть, словно разболелась. Когда позже поцеловала руку любовнику, он ее отдернул, укорив, что он ей ни поп, ни отец, и она почувствовала еще большую вину.

А вот теперь она никак не могла вспомнить, как он ее называл. «Девочкой» или крещеным именем, нет, точно не так, ни одно, ни другое никак не сочеталось с тембром его голоса, с неявным акцентом. Наверное, это было что-то уменьшительное, но не такое, что мяукают обычные любовники, но что-то тайное и сладкое, как золотая монетка под языком. Иногда ей казалось, что она нашла на след, что оно, это имя, на кончике языка, но оно терялось, исчезало, как если бы вы потрепали по спине знакомого, а к вам оборачивается изумленный незнакомец. Она умела и соврать самой себе, сказать: вот, оно, и верить в фальшивое имя все утро, но все это было ради безобидного самоистязания, от которого она получала наслаждение на расстоянии, как всякий профессиональный страдалец.

По правде говоря, в своей жизни Девочка пережила не много травм, в Сараево, всего два раза. До пожара ее кожа была неповрежденная, — она клянется, — как стеклянная девственная плева, однако не такая красивая, как у Сташи, но в целом, выглядела хорошо сохранившейся змеиной шкуркой. Однажды она поранила ногу тяжелым инкрустированным ножом для разрезания бумаги, когда земля затряслась, и жуткий вой ветров послышался из ее глубин, а южная стена мечети Гази Хусрев-бега утонула по щиколотку.

Но это было потом, наверное, в шестьдесят втором, когда Девочка проездом на море заночевала в гостинице «Централь». Она пожалела об этом, видеть ничего не хотела. Зачем вообще останавливалась? Ей даже было не по дороге, она ехала на север. Лежала на спине, пристально смотрела в высокий свод потолка, в тених которого ключьями повисла паутина. Могла слышать, как шумит вода в старых трубах, шлепанье босых ног (ванная комната была в конце коридора), пугающее царапание в толще стены (словно руки забытого узника), все это Девочка могла слышать, но нет, не слышала, потому что в ушные раковины, скользя по скулам, пролилось столько горячих слез, что она как будто оглохла.

Похоже, что она впала в своего рода летаргическую дремоту. С трудом улавливала крики людей, беспокойные голоса животных, и толком не поняла, что, истерично жестикулируя, объясняла ей горничная, войдя в номер без стука и тут же стремительно выбежав, оставив незакрытой дверь, и высокий ортопедический ботинок, слетевший с ноги в такой непонятной спешке, но ушла, прихрамывая и не оглядываясь. Все еще

не вставая с кровати, только подперев голову руками, полусонная женщина смотрела на полуодетых людей, бежавших по коридору, словно в тахикардическом бурлеске.

Потом опять тряхнуло, и Девочка вспомнила свой сон. Она искала Сташу Гроховяка в каком-то цветущем саду. Первый раз она увидела его молодым, откуда-то зная, что он спрятался в кроне дерева. Встряхнула ствол, испуганные птицы взлетели к проводам, а все беловатые лепестки (в которых предавались любви пчелы) сразу упали на землю. Ветви стали голыми. Не было Сташи, не было никого, а Девочка в гневе все трясла и трясла дерево, и сама, в конце концов, задрожала, затряслась, как эпилептик.

Пустяковые пейзажи с боснийскими мотивами исказились. Девочка только сейчас замечает, что есть один, со шлагбаумом и со стадом животных, бессмысленно бегущих в панике. На потолке, со звуком рвущегося старого письма, появляется большая трещина. Вода в стакане на ночном столике еще колебалась, как монета на асфальте, между «орлом» и «решкой», дзинь-дзинь, пока, наконец, не звякнула.

Это дерево такое слабое, промелькнет в голове у Девочки, на нем не смог бы повеситься и ребенок, а, тем более, спрятаться взрослый человек, о, какая я глупая.

И тогда фатальный ножичек скользнул со стола, вонзился ей в ногу, она вскрикнула, выбежала на улицу, где среди людей, ждущих и прислушивающихся, присела на корточки и стала вылизывать свою рану, как течная сука.

И во второй раз, в Сараево, она получила травму в постели, оставляя на простынях свернувшийся след, как при потере невинности. В некотором смысле это была любовная травма. Но без плеток, ногтей, зубов, как мог бы подумать кто-то с разнузданным воображением. Она укололась о розу, которую муж положил ей на подушку. Вообразите! Но этот шип, не удаленный близоруким любовником, был таким острым, что она едва не осталась без глаза, когда повернулась во сне. Если бы не морщины и первые признаки псориаза, на ее веке наверняка можно было бы увидеть короткий плотный шрам, примерно, как кровеносный сосудик. Муж в слезах останавливал кровотечение своим сухим языком.

Еще не успеет затянуться рана, а она уже будет нависать над ним, тревожно прислушиваясь к частому, неравномерному, затихающему дыханию.

Натюрморт с рыбами

Всю свою жизнь Девочка заботилась о стариках. Сначала об отце, потом о муже, и, наконец, о матери. Когда все закончилось, она уже и сама была немолода. В самом деле, было смешно, когда кто-нибудь на улице обращался к ней по прозвищу.

Детей она не любила, и не хотела их. Мне противна их жеманность, – говорила она, – и это ее немногочисленным знакомым (с которыми она вообще могла разговаривать о детях) казалось чудачеством. Такого никто не понимает. Вскоре она умолкла. Есть ли у нее вообще материнский инстинкт, она, вообще-то, женщина, – сплетничали о ней медсестры, напрасно подсовывая ей

цветные фотографии своих обезьяноподобных деток. Посмотри, какой грязный пляж, – редко и с отвращением комментировала Девочка, как бы не принимая во внимание выражение дурацкой и беспричинной радости на лицах маленьких купальщиков и купальщиц, писающих на мелководье и боящихся воды, как зверята.

Разумеется, – мелькало у нее в голове, что еще могло бы вызвать такое кислое выражение лица, – и однажды она поехала на море в профсоюзный дом отдыха, в Цриквеницу, там ей сразу же стало тошно от собственного одиночества и чужачества, однажды она захотела быть, как все, есть бутерброды с вонючей колбасой и глотать половинки помидоров на кошмарном пляже, жариться на солнце, вместе с телами, отяжелевшими от плача и забвения, для них трагедией может быть только автомобильная катастрофа, – обобщала она, их боль уравнена с жалостью к себе, – громко произнесла она в середине эпизода «Неприкасаемых»¹, и санитарка, которая пересказывала ей сериал, в изумлении замолчала, отвернувшись, крикнула: «Детка, выходи из воды, у тебя губы посинели!», а Девочка уже складывала свое масло для загара, кремы, солнечные очки и соломенную шляпу, подстилку из рогожки и зонт с чирикающим механизмом, она двигалась рядом с залежавшимися телами, перепрыгивала через них, как через поросшие травой могилы, красота у людей – это всего лишь эксцесс, думала она, глаз не хватит на все это смотреть, желудка – чтобы переварить.

Это, ей-богу, не мое, – шептала она, запихивая багаж в раскаленное такси, – и двух дней не прошло, а у

1 Телесериал канала ABC (1959–1963).

меня от всего разболелась голова, – жаловалась она сама себе, на верхней платформе парома, уносившего ее на остров Крк, а южный ветер трепал ее волосы и удары сердца. Она остановилась тут же, где сошла с парома, в местечке Шило легко нашла комнату в каменной вилле, в которой жили старушки, сестры, молча скользившие по дому, как тени в раю, нашла и маленькие заливчики, с огромным количеством диких пляжей, где и лежала целыми днями на камне, загорая с голой грудью.

Здесь появлялось еще несколько скромных отдыхающих, которые проходили мимо нее в поисках удобного убежища, все загорали обнаженными, она это знала, они никогда не обменивались любопытствующими взглядами, проходя мимо друг друга, как пугливые животные, как сновидения. Здесь не было ничего от вульгарной близости нудистских пляжей, учитывались границы, все было позволено до известной степени, из-за сильного солнца.

И если бы захотелось к кому-нибудь приблизиться, поговорить, втереть оливковое масло в чью-то разогретую кожу, хотя бы чуть-чуть заглянуть через плечо, Девочка только бы тряхнула головой, изгоняя нескромную, богохульную мысль (это была хула в адрес некоего маленького, преодоленного бога). Ей случалось уснуть на скале, и дверь она не запирала (пояс невинности, – усмехалась самоиронично), и когда она однажды увидела стройного юношу, бежавшего к ней, перепрыгивая с камня на камень, а повисший член ударялся то об одно бедро, то о другое, когда она поняла, что он обращается к ней, останавливается и улыбается,

машет листом бумаги для рисования, потому что, как оказалось, он ее, спящую, рисовал, с покатой скалы из тени приземистого дерева; она вскочила, закрыла грудь руками, и, словно это вопрос жизни и смерти, сбежала от пришельца, громко захлопнув книгу, которой до этого прикрывала лицо.

Следующий день она провела в постели, не осмеливаясь выйти и поискать, к примеру, другой пляж, она чувствовала стыд, как если бы накануне напилась и впала в полу-амнезию, а когда в сумерках старушка принесла ей травяной чай и тарелку с инжиром и сочувственно кивала, Девочка, невесть почему, пожаловалась ей на несуществующую боль где-то под ребрами, а потом из-за этой детской, беспричинной лжи почувствовала еще более глубокий стыд.

Всю ночь в кронах деревьев под окнами шумела листва, и Девочке казалось, что само море поднялось к дому, и теперь он стоит по щиколотки в воде, как убогая тень Венеции. Она выкурила целую пачку своих дешевых сигарет и к утру заработала сердцебиение. Потом она что-то писала, но бросила, потому что затекала рука, она ее массировала, отложив карандаш.

Утро было пасмурным, вскоре пошел дождь. Если молодой человек оставил свой рисунок на моей скале, то теперь он наверняка намок и распался, – гадала она. Во второй половине дня дождь прекратился. Девочка прихватила из кресла-качалки теплую кофту одной из старушек, потихоньку вышла из дому. Сумерки были прохладными, на пляже ни души. Она дошла до скалы. Начала переворачивать камни, пытаясь найти хотя бы обрывок рисунка, как доказательство того, что он

существовал. Но – ни клочка бумаги, ни следа послания. Может быть, это не та скала, засомневалась она, остановилась и оглянулась. Но темнота стремительно сгущалась, и любые поиски становились бесполезными. Что это я делаю, – спросила себя Девочка, глядя на выпачканные руки, и выпрямилась.

Она возвращалась, перекачивая в ладонях искрящуюся гальку, а из домов слышала смех и крики, из-за жалюзи – орущий телевизор. И если бы она сейчас его встретила, то свернула бы в сторону или ступила в глубокую тень, Девочка пыталась сама себя разоблачить, подвергнуть самоанализу и утешить известной дозой самоуничтожения, убеждая себя, что ей есть дело только до не увиденного рисунка.

На следующее утро ее разбудили голоса в соседней комнате. Человек из маленького туристического агентства, водворивший свой двойной подбородок в заношенный воротник, внезапно привел к старушкам постояльцев и во вторую комнату: довольно молодую супружескую пару из Загреба с двумя детьми. Девочка вспомнила, что сразу неосмотрительно ему поведала, что хотела бы отдохнуть спокойно, и закусила губу. Старушки с проветренным постельным бельем в руках, оживились, это Девочке показалось частью заговора, она их почти возненавидела.

В тупом мальчике она видит будущего хвастуна, крикуна и ипохондрика, а в девочке сразу же распознает ту самую женскую слабость и притворную покорность, которая ее бесила. Родители, разумеется, были эталонно вульгарны. С ними в одну ванную, – она едва не расплакалась, а дети дрались в коридоре. Дня не про-

шло, как Девочка уже вернулась домой. Даже не оглянулась на старушек, которые проводили ее до шоссе, и на детей, которые ей махали на прощанье.

И вот медсестры перестали показывать ей фотографии своих детей. Когда в перерыве Девочка входила в комнату отдыха, они обычно замолкали. Однажды, придя на работу в сером пиджаке Мило, у которого подвернула рукава, она опять услышала шепот за спиной. Если бы она умела читать по губам, то могла бы увидеть на обрामленном карминной помадой хихиканье слово: **чучело**.

*Этюд к неизвестной картине
с боснийским пейзажем(II)*

В Сараево у Девочки было два адреса: студенческий, на улице Светозара Марковича, в доме, построенном в австрийские времена, который так напоминал ее родной, что иногда она просыпалась по утрам, не зная, где находится, пока через высокое окно, откуда-то издалека, сверху, не слышала гипнотический призыв муэдзина; а на Невесинской улице, вьющейся вверх, к небу, как волшебная фасоль, она жила с мужем.

Черт его знает, почему, интерьеры второго дома полностью выветрились у нее из головы, все путается, помнятся только детали – часы на стене со слабым боем, полка с книгами, угрожающая рухнуть и кого-нибудь убить, старый *Underwood* Станислава, на котором он печатает одним пальцем, ссутулившийся и отсутствующий, и, да, тот восточный молитвенный коврик, теперь, я думаю, что он в мансарде, у Косты.

Девочка любит улицу после дождя и умоляет доктора Гроховяка хотя бы ненадолго оставить работу и пойти с ней погулять, на что он, вдохновленный ее энтузиазмом, отнекиваясь, все-таки соглашается. Куда же пойти? Если они отправятся в сторону набережной, до моста, на котором в упор расстреляли *этого-как-его-звали*¹, то наверняка встретят кого-нибудь из знакомых, а это испортит все. Поэтому оба оглядываются.

Если пойти вверх, в сторону массивных холмов, – Девочка с блокнотом и карандашами в руках, со спокойствием и грациозностью модели, глаза которой пусты, Станислав, посматривая на карманный хронометр, морща нос, чтобы разболтанное пенсне не сбежало с золотой цепочки, неся фамильную трость, в которой спрятана самая настоящая сабля (с тусклым блеском закопанных сокровищ), – и если же они, таким образом снаряженные, двинутся вверх, по солнечной стороне, то знают, что им надо будет остановиться, когда одолеют насыпь старой железной дороги (откуда те дети из анекдота давно унесли рельсы), чтобы на старом еврейском кладбище, под звук бубна облетающих с топей листьев Станислав отдышался, прислонившись к сефардской гробнице, похожей на кошачью лапу.

Делая вид, что она не замечает его изнеможения, руки, под пиджаком потирающей грудь, сжимающей маленькую лягушку сердца, не замечает загудевших канатов вен, напрягшихся на шее, пота на белых, как полотно, щеках, наверняка холодного и маслянистого; Девочка ждет, когда больной, сдвинув шляпу, откроет лицо,

1 Престолонаследника эрцгерцога Франца-Фердинанда.

ослабит галстук-бабочку, а потом, словно жизнь есть везде, она начнет его рисовать в давно запечатленном ландшафте, который очень медленно вращается. Девочка, прикрывшись блокнотом, болтает, ее карандаши поскрипывают. Станислав смотрит в землю, задумавшись.

Не двигайтесь, – словно бы сердится Девочка. Ее модель пожимает плечами. Улыбка дрожит на ее губах, как струна. Он отдышался. Лекарства в металлической коробочке, которую он носит в кармане, позвякивают, стоит пошевелиться. – Вы нарушите соотношение света и теней, если продолжите вертеться, – продолжает Девочка. Станиславу лучше. Он что-то говорит и позволяет взгляду, как перышку, слететь вниз, на город.

Бывают дни, когда Девочка его оставляет, сжавшегося над собственным телом, среди овечек, которые здесь пасутся на вольном выпасе, меж надгробных камней давно живших и умерших людей, с нанесенными на них непонятными, Божьими письменами, древнее их, кажется, только колючая трава, которая топорщится во все стороны, в ней можно утонуть.

Тогда Девочка, подобно козе, которая выбирает хорошие камни, углубляется в Соукбунар-махаллю, и еще дальше, к вершинам холмов, откуда возвращается, набрав грибов (тайну которых она сама разгадала), с голым животом, потому что грибы собрала в задранный пуловер, и высыпает их перед Грохояком, который тем временем уснул на солнце, прислонившись к памятнику.

* * *

А однажды вечером, как раз тогда, когда, немного выпив, влюбленные отправились вниз, к Миляцке, пря-

чась от света и людей, держась за руки, болтая и смеясь над собой из-за такого дурашливого поведения, они, бродя по окрестностям, оказались на улице Новой.

Смотрите, – Станислав показал Девочке ряд австрийских домов, на первый взгляд, образцовых, – когда-то здесь, – он совсем понизил голос, – шли по порядку солдатские бордели: *Голубые фонари, Белые фонари, Красные фонари*. А вон тот, там, назывался *Пять машин!*

Они остановились у здания, в котором когда-то был полицейский участок. Молчали. Начал моросить легкий дождик. Теперь они шли, не спеша, рядом, стараясь не касаться друг друга. – Сташа, – произносит Девочка.

Знаю, вы хотели бы меня спросить, был ли я когда-нибудь с проституткой, не так ли?

Девочка взяла его под руку, и едва не свалилась с каблуков.

Garage de bateaux

В Париже, в начале сороковых, одной безнадежной ночью я ехал в такси.

Во всем городе фонари укутаны в синюю ткань, ведь только фонари борделей не были видны из самолетов. Я задержался на собрании кружка, а потом в бистро, с коллегами. Мы долго и как-то отдельно от всех беседовали о медицине, слишком быстро пили вино. Уже началось затемнение, моя несчастная страна была растоптана, продана, а я безостановочно говорил, даже громко смеялся. Когда мы, наконец, расстались, я был настолько опустошен, мне казалось, что не могу сделать ни шагу, словно ноги мои ампутированы, и если

продолжу идти, то закончу, как тот пьяница у Мопасана, где-нибудь на набережной Сены, неспособный встать на ноги, мертвый.

Я шел по середине пустой улицы, раскачивался, и только «кошачьи глаза» внезапно заискрились на черном флаге. И когда я потерял всякую надежду встретить в этом проклятом арондисмане живую душу, прямо за моей спиной, неслышно, остановилось такси.

Вас будто сам Бог послал, – сказал я, садясь в автомобиль, и замечая, что язык у меня заплетается

Нет, не Бог. Долг, – говорит таксист серьезно, и в его голосе, и во всей фигуре, в которой даже в положении сидя угадывалось что-то от скульптур Родена, я распознал не акцент, но чистую, характерную славянскую окраску.

Вы не парижанин, – спросил я неуверенно.

Парижанин, – ответил он бесстрастно, – вот уже двадцать лет, а когда-то я был русским. А вы, и вы, похоже, эмигрант?

Я врач. То есть, хочу сказать, и поляк.

А, значит, мы оба славяне, – безразлично отметил ночной таксист, а цифры на счетчике с шумом выпрыгивали в ночь.

Я раскачивался, меня мотало, пустым портсигаром прищемил палец. Таксист угостил меня сигаретой, и я с радостью согласился. – Если месье позволит, – говорит он, – и, не дожидаясь ответа, уже прикуривает и свою, и его лицо на мгновение мелькает в зеркале заднего вида. Я не успел сказать «да», а он уже как-то по-дружески вдавался в подробности. – Мы должны были пройти через многое, – я вдохнул горький дым

«голуаз», понимая своим малым мозгом, что в фамильярности виноват сам.

Национальность, месье, трудно распознать по форме носа, если только вы не китаец, – улыбнулся мой приятель, при этом у него во рту блеснул серебряный зуб, похожий на пулю для вампира. – Один мой друг из Прованса, чистокровный француз, – продолжает он, – встретил в своем имении некое бессловесное существо, пол которого едва угадывался, ободранное, с грязными волосами, из которых выпадали паразиты, кровососы, вонючее, как труп, но живое, в лохмотьях, в горячке и совершенно дикое. Он оставил необычное существо в домике для прислуги, оставил еду, а утром – посреди комнаты, извините, кучка, еда же спрятана по углам. Прекрасная кровать, клопов всего ничего, нетронутая. Деревенский доктор покачал головой, мой друг тоже, оставив это безумное существо в покое.

Этим летом я у него побывал, подразумевается, что я обо всем знал. Послушайте, без ложной скромности, не будь большевиков, может быть, мы бы вместе принимали пациентов, я знаю, что такое может быть вызвано ужасным шоком, я этого насмотрелся, есть среди нас такие, кто предчувствует скорое изменение погоды или землетрясение, заранее, как животные, короче, я пришел к выводу, что женщина спасалась от стихийного бедствия, из тонущего города, от войны, все равно, она пережила что-то страшное, что полностью помрачило ее душу, и потом, из-за вселенского страха, вполне возможно, что крестьяне моего друга обнаружили ее на опушке леса, голую, онемевшую, опустошенную...

Я слышал о таких случаях, – сказал я, дивясь тому, какие плоды принесла эта ночь.

Да, – с презрением сказал таксист и выплюнул погасшую сигарету. – Я видел ту женщину, безнадежный случай. Но подумал, что на ее лице есть признаки того, что ее возможно вернуть из ледяного беспамятства, и после нескольких дней раздумий я предложил другу, что возьму ее с собой в Париж, в надежде, что не все потеряно.

Мой друг удивился, начал меня отговаривать, но, поняв, что я упорствую, и, полагая, что в такие смутные времена он избавится от ненужной заботы, в конце концов, согласился. Я мужчина, христианин, холостяк, выхаживал безымянную женщину в своей квартире месяцами, разговаривал с психиатрами, не работал, мы жили на мои сбережения, и потихоньку она научилась основному, гигиене и тому подобное, и вдруг однажды за обедом я услышал внятное: не могу больше.

Представьте себе, что это означало для меня, – таксист развел руками и выпустил руль, – но потом все пошло быстрее и быстрее, с каждым днем она произносила все больше слов, ее глаза все больше прояснялись, пока однажды ночью я не вскинулся, весь в поту, выброшенный из этого счастья, и подумал, что теперь она вспомнила, кто она, и откуда, теперь вернется в семью, к мужу или любовнику, а я опять останусь один-одинешенек, без друга, с болью. И вскрикнул, просыпаясь.

Нет, она не была полькой, если вы думаете, что я рассказываю вам из-за этого, хотя она была блондинкой с бледно-голубыми глазами, говорила она, как парижанка. И однажды она действительно пропала, на три дня, не говоря ни слова. Можете себе представить, что было со мной, когда я увидел, что она ушла. Три

дня! Я думал, что у меня разорвется сердце. Я не мог подняться с постели. Я не поменял попугаю воду, мы потом нашли его, он сдох без причины, но что та смерть по сравнению с людьми, стремящимися в никуда, как безмозглые мухи?

Но вы счастливчик, *mon ami*, она вернулась, – воскликнул я.

Счастлив! Это слово слишком затерлось в слащавом шансоне, по вонючим тотализаторам, по родильным приютам для бедноты, чтобы описать глубину чувства, охватившего меня.

Вы удивительный человек, – сказал я незнакомцу, а он продолжал куда-то ехать.

Она вспомнила свою семью, навестила их, рассказала им, что случилось после побега, когда прорвали линию Мажино, сказала обо мне, своем спасителе, так она меня называла. Спаситель.

Как я вам завидую, – вскричал я, а глаза мои были полны слез.

Вы бы только видели ее, с волосами, собранными в хвост, с распущенными волосами, с широко расставленными глазами, которые на вас смотрят, как на Бога, с зубами, в которых она носила бы вас, нежно, как волчица...

Да, да, я ее вижу, – кричал я хрипло и влюбленно, словно видел ее.

Вы бы видели ее грудь, на которой можете уснуть, как в снегу, и умереть прекрасной смертью, ее пупок, что сулит вам сладость безграничную...

Я замер, воодушевленный, пьяно моргая, но таксист, не оглядываясь, катил дальше.

Вы бы видели ее на коленях, как она все понимает, какая она податливая, как мшистая тень, от которой кружится голова!

Я действительно вам завидую, – пробормотал я серьезно, наполовину протрезвев, – действительно.

Не стоит завидовать, добрый человек, зависть неуместна. Вы можете ее иметь прямо сейчас. Я надиктовал вам сладчайшую мечту, *daragoj moj*. У Дядюшки Гайто есть всё. Сладость, опиум, любовь... За минимальное денежное вознаграждение, разумеется. Если вы сейчас утомлены, то приходите завтра, в Латинский квартал. Просто спросите Дядюшку Гайто, русского, Спасителя. Вам все улыбнется.

Натюрморт с черепом и уткой

И? – приставала к нему Мария, нетерпеливо понукая, тянула его за рукав, когда, пересказывая, он умолкал.

Коста, по правде говоря, довольно часто отставал: он был похож на идиотика, когда сидел вот так, раскрыв пересохший рот, перед листом бумаги, где одна написанная фраза (тянувшаяся вбок, как винтовка) была резко оборвана, вынырнула только где-то у самых ног. Коста был тем, кто посмотрел бы вглубь синтаксической пропасти, но не смел взглянуть.

Кончик шариковой ручки без колпачка совсем высох, и если бы Косте пришлось в голову пройтись по воздуху, как в рисованном мультфильме, то надо было его видеть, как он возбужденно и нервно встряхивает стило, черкает на полях, чтобы ручка, наконец, начала писать, а он от усердия высунул язык в чернильных точках.

И – ничего, тогда твой брат начал визжать.

Как это? – вскинулась Мария, выпрямляясь.

Он визжал так, словно с него живьем сдирали кожу, мы выглянули в окно, он стоял посреди двора, между двумя улетевшими газетными страницами, и визжал.

Ненормальный ребенок, – процедила сквозь зубы Девочка и сбежала вниз по лестнице, только тапочки полетели во все стороны. Долго мучилась с заедавшими воротами, дергала их по-мужски, все грохотало, едва не сорвала створки с искривленных петель. За занавесками в окнах соседних домов мелькали и исчезали лица, люди не вмешивались, только собаки бешено лаяли, рвались с цепей, и наползали низкие облака, из-за которых невозможно было дышать.

И примерно в тот же момент, когда поддались ворота, а девочка вбежала во двор, на галерее появился Ш., отец мальчика и Марии. Он стоял, только что проснувшийся, весь отекий, потирал виски. Они были на одинаковом расстоянии от мальчика, который, заметив их, прекратил орать, словно удивившись тому, что увидел на небе одновременно Луну и Солнце, очень яркие. Тем временем Девочке все-таки удалось спросить, что с ним, – нет могилы, – это он сказал.

Он говорит, что могила исчезла, – объяснил ей отец, – нет могилы, это он сказал.

Какой могилы? – она пришла в ужас, и, словно стесняясь, положила руку на темя ребенка.

Моей могилы, – услышала женщина, не веря своим ушам.

Он имеет в виду свою могилу, – отец показывал рукой куда-то в темноту, – то есть, нашу могилу, игрушку.

А вы все еще тонете в рюмке, – сердито оборвала его Девочка, ребенок, утомленный своим воем, всхлипывал все тише. Этот, через дорогу, семинарист-второгодник, запустил мотор на полную катушку.

Да я в рот не брал, ни капли, – отец кладет руку на сердце и показывает на ребенка.

А почему тогда вы так странно разговариваете?

Странно?

Растягиваете слова. Как будто считаете слоги, как будто ходите по яйцам, – Девочка повышает голос, словно обращается к глухому, – вот так вы разговариваете.

Не ваше дело, – возмущался пьяница, вслед женщине, которая уже уходила. – Я тела своего господин¹, – крикнул он, оборачиваясь к соседним домам. – Не плачь, сынок, мы выкопаем новую могилу.

И с какой-то дурацкой гордостью отец поднимает глаза. В окне, защищенном пожелтевшей газетой, видит Косту, ладонями зажимающего уши.

* * *

Похоже, что и эта болезнь не может развиваться без осложнений, без затаенных чувств и взаимоотношений, которые, бывает, внезапно вырываются на поверхность, как подземные воды. То есть, **Ш.** был самым крупным врачебным успехом Девочки и одновременно самым крупным провалом. Долгие годы она ухаживала за своими родными, но это был напрасный труд облегчения

1 «Тела своего господин» – название рассказа (1932) и сценария к одноименному кинофильму (1957) хорватского прозаика и драматурга Славко Колара (1891–1963).

последних месяцев и дней, расстегивание последней пуговицы на тесном воротнике приговоренного, стоящего под виселицей, так она после изнурительной агонии матери и ее конца была на грани той глубокой меланхолии, к которой всегда склонны те, кто бдят у одра умирающих.

С непроницаемым выражением лица она провожала редких знакомых, которые зашли в дом после последних похорон, чтобы вздрогнуть от наполовину пролитой ракии, обжигающей слизистые оболочки, бормоча – что тут поделаешь, все там будем, – и в растерянности озирались, словно двери за ними закрывались навсегда. Скоро разошлись все, кроме странненького Ловро, который сидел, съжившись, за все время не сказал ни слова, закусывал без аппетита, мял кепку.

Ты зачем разулся, – спросила Девочка старого слугу, поморщившись, глядя на его рваные шерстяные носки, – видишь, как грязно.

Она собрала оставленные где попало рюмки, за которыми по столикам и комодам тянулись влажные следы, похожие на деформированные сердечные мышцы. Страхнула стеклянное содержимое с подноса в раковину, и звонкий, ледяной звук отозвался в онемевшем доме, как вздох облегчения. Девочка сняла черную ткань с одного зеркала и увидела в нем сильную, желанную женщину, с телом судовой ростры, тридцати с чем-то лет, но с обручем на сердце. Скользнула рукой по груди и по ягодицам нерожавшей. Наконец, одна, – выдохнула она.

Потом вспомнила про старика, сидевшего в столовой. Пойдем, дорогой Ловро, – ласково позвала она, под-

няла его, обняв за плечи. – Твои подумают, что ты опять сбежал. – Старик послушно двинулся. – Давай, в другой раз зайдешь, завтра. Мне надо покрасить волосы.

* * *

У меня не было ни золота, ни партии, – объясняла Девочка. – Поэтому я и получила те деревни.

Разве вы не слышите ее торопливый сигнал, когда она пробивается сквозь стадо разоравшихся гусей? Разве вы не поднимете голову от работы, не утрете пот со лба, чтобы разглядеть ее громахающую, усиленную *machina*, уносящуюся от огромного пыльного облака, которое она оставляет за собой? Разве легко влететь на маленьком автомобильчике в стадо сонных коров, чтобы по нему пошла волна, а животные поднялись в небо, словно лебеди?

Крушедольский Прнявор, Нерадин, Язак, Шатринцы, Добродол, это те села, точки, составляющие болезненный круг, который Девочка головокружительно выписывает колесами «*фиата-750*» границы назначенного себе карантина, который она соблюдает.

И что ей из всего этого достается? Само собой – времена года. Старушки, до глаз закутанные в платки, у которых вечно ломит кости, со свежими куриными яйцами в руках (они потом, после осмотра, тайком их положат на ее стол), ожидающих смерть перед сельскими амбулаториями, еще с рассвета, множество ее *правых рук*, скажем, Ферко, который на удивление быстро скачет на своей деревянной ноге, чтобы ей, ссутулившись, поклониться, открыть дверь, взять черный докторский саквояж, длинный, как безногая такса.

Ее *помощники* – селяне, которые в армии окончили курсы первой помощи, научились делать инъекции и перевязывать раны (на которые, прежде чем наложить повязку, плевали, в лечебных целях), или чистые, заботливые женщины, вдовы, либо безземельные, которые утирали пот со лбов рожениц (до конца не зная, выйдет ли наружу ребенок или липкое мертвое тельце), а сами, без чьей-либо помощи, в теплых хлевах рожали маленьких Иисусов.

Как там умирали? Легко. От падения с чердака, от укуса бешеной лисицы, от пьяной отцовской руки. (Обычно зимой Девочка без удивления констатировала, что все село, от мала до велика, то ли пьяные, то ли психованные, приписывая это все-таки своей усталости или предменструальному синдрому). Ей случалось писать для полицейских нужд лирическое врачебное свидетельство о безымянной беременной девочке, которая утопилась в колодце, и теперь она смотрит на нее, посиневшую и раздутую, с окровавленными пальцами, с изгрызенными ногтями, ничуть не менее безгрешную, чем Офелия или Марина Огненная, Великомученица.

Как там болели? Натурально, на свежем воздухе. Подагра, катаракта, паралич, падучая, ночной кашель. Иногда она ловила себя на том, что, беседуя с кем-то, на обороте рецепта набрасывает лицо местного жителя, у которого из-за сифилиса провалился нос.

Но все-таки, после нескольких лет такой «деревенской практики» ей представилась возможность продолжить практиковать в Сремски-Карловцах, парковать свою пыльную машину перед собственным домом, с некоторым затаенным чувством вины за то, что

оставляет неподвижных, придавленных земным притяжением людей на милость и немилость всем болезням этого нездорового мира, кое-кто из них будет являться ей во сне и разлагаться, с лицом, облепленным черной оспой. Но через какое-то время она кошмары забывала.

Как спалось, – спрашивает новая медсестра. – Хорошо, – отвечала она и умолкала. Если действительно помолиться и спать на стороне сердца, то вам приснится то, что захотите, посоветует она девушке, которая, едва сомкнув глаза, видит косматого человека.

Девочка, зажмурившись, заходит в кабинет, полной грудью вдыхая специфический запах медикаментов, думает, – ох, насколько в городе болезнь чище, а смерть – не такая мучительная, – надеясь, что хотя бы первый ее пациент не окажется жутким стариком с кровоточащим геморроем.

Следующий, – слышит она, как сестра вызывает пациента. – Заходите, Блашкович.

* * *

К сожалению, никогда не бывает так, если только мы вовремя не остановимся и не разберемся, не уточним картину. В моменты тщательно скрываемого малодушия Девочку все чаще беспокоило одно сараевское воспоминание. На еврейском кладбище она делала набросок к портрету Станислава, или же они просто сидели, прижавшись друг к другу (плохо видно), как вдруг где-то, в неопределенной близости, ударил гром среди ясного неба, вспыхнул пожар. Они огляделись, вытягивая шеи, услышали пожарную сирену, и это их успокоило.

Предоставив событиям идти своим чередом, они увидели толстого, потерянного пожарного, потного и запыхавшегося, в шлеме, сверкавшем серебром, перетянутого ремнями из желтой кожи, как перевернутая, выпавшая из поезда посылка, как он растерянно мечется по Невесинской улице, туда-сюда, туда-сюда, а дым валит отовсюду, и пламя уже лижет эту четкую фотографию.

Это я, – говорила Девочка, имея в виду того запыхавшегося, бессильного пожарного, – это я, смотри, я.

И не было в этом особой жалости к себе. Просто она лечила им желёзки, лечила от гриппа, от кори, от всех болезней, от которых и так выздоравливают. Кости срастались сами по себе, лихорадки после кризиса сходили на нет, болячки, созрев, отпадали... Те, что страдали от мук с более звучными именами, отправлялись к специалистам или к Богу. И когда со своей проблемой появился Ш., учитель, приехавший из города в наказание за что-то, Девочка от отчаяния лихорадочно вцепилась в его случай, едва не задушив заботой.

Так началась эта исцеляющая дружба, – рассказывала Мария Косте, лежащему на левом боку, думая, что не заметно, как он бормочет молитву, придумывая ее на ходу.

* * *

А ты, – вдруг вспомнила Мария, – где ты был все это время?

Я остался наверху, – говорит Коста, и уже понимает, что ответ неправильный. Он не может освободиться от картины, хотя старательно пытается, наблюдает откуда-то со стороны, покинув тело (как оккультист, как

чистый дух): с верхушки телеграфного столба видит Девочку, которая энергично дергает ворота, **Ш.** промачивает горло, выйдя во двор, видит мальчика, некрасивого, как птенец с разинутым клювом, собачку, заполошно скачущую, зависая в воздухе, и, наконец, самого себя, как стоит в окне, ладонями зажав уши.

Он знает, что все это разочаровывает, это пассивное неучастие, башня из мышиных костей, он на пядь от стыда, когда Мария ехидно спрашивает, как это он сам не сообразил, что надо прибежать на помощь, быть под рукой. Спасти.

Спасение? – удивляется Крстич, перекладывая медицинские книги, с подчеркнутыми строками, развенчанные, только, чтобы скрыть нервозность, разве этот сон еще что-то значит?

* * *

Когда Коста К., спустя несколько лет, однажды все-таки окажется в секретной, всегда запертой комнате, куда Девочка заходит тайком, и, осматриваясь, среди вещей, которые мы по-прежнему оставим безымянными, он обнаружит в растрепанной амбулаторной карте список всех болезней Марииного отца.

Но это не будет железный занавес латинских диагнозов, морбидный расклад представлен в свободном описании, в некотором смысле метафорически, поэтому Косте, жаждущему обещанных картин Шупута (в существовании которых Мария так горячо его уверяла), в первый момент покажется, что это каталог вожаденной выставки. *Свиное сердце с гипертрофированными темными желудочками... Жирная печень,*

подобная невесомому облаку... Паралич стоп с «куриным глазом»... Он уже не был уверен, это для памяти или издевка. Бродячая тестикула, одна. Мягкие мозги. За голосовыми связками.

Правая ладонь

Теперь следовало бы представить, как слепец-недотепа ощупывает соцреалистическую картину, скользкими пальцами, словно копается в консервной банке с сардинами. С мраморной таблички, на которой высечены имена павших борцов (табличка с пятиконечной звездой на фасаде местной канцелярии и почты № 22328, с нее свисает, стало быть, убитая змея, скользит по кириллическим буквам, как капля черного масла).

Из открытого окна слышатся громкие, суровые голоса местных бонз, подозревающих в учиненном безобразии местных озорников. Стоит бесконечный августовский день. Кажется, что нет никого, кроме местного де Голля, тот что-то обсуждает сам с собой (с тех пор, как на войне он получил пулю в голову, которая все еще гуляет по темным извилинам), и детей (они прячутся от сумасшедшего за колодцем, похожим на деревянную церквушку). Это второгодники, они никак не дождутся звона пастушьего колокольчика в руках учителя, который соберет их там, через дорогу, в школе, и поставит всем двойки¹.

А слепой морщится: и вправду, август, а он под пальцами ощущает майский цвет фруктовых деревьев, везде и повсюду, словно картину перетряхнул и обыскал какой-то здешний безработный таможенник².

1 Низшая удовлетворительная оценка.

2 Аллюзия на французского художника Анри Руссо (1844–1910), по профессии таможенника и по прозвищу Таможенник.

Но учителя нет и нет. Не укусила ли его та повешенная змея? Нет. Мы забыли сказать, что на картине ее и не видно. А вот и учитель, звонит в колокольчик, улыбается, дети бегут к нему, крестьянин, из задруги, машет ему с трактора. Так мог бы художник задумать эту сцену.

Например, он стоит на холме, на солнцепеке, умирает от жажды, но не может попасть к колодцу, в страхе, что вороны склюют его картину. Просит второгодников принести ему воды, они, и правда, идут от колодца с полными шапками и ладонями, но, пока поднимаются на холм, все проливают. Тогда лучше подождать, чтобы художник оглянулся, чтобы слепец почесался, и найти учителя в его квартире при школе, пристально смотрящего на лицо Девочки, похожее на грецкий орех.

Ну, гипнотизируйте меня, – требует он победоносно в ответ на ее слова, что гипноз в психиатрии – это самое обычное шарлатанство. Как же этот человек умеет паясничать, – злится Девочка, и, отложив очки, трет глаза. – Раздевайтесь, – говорит она устало. Они одни в комнате, если не считать Марии в соседней, прикинувшей глазом к замочной скважине.

Это не по правилам, люди подвержены внушению, кодекс врачебного сообщества такого не допускает, – убеждает его Девочка. – Ну, давайте, раз это так легко, – говорит Ш., расстегиваясь, – загипнотизируйте меня, и я поверю, что это ерунда. Девочка скорее превратила бы его в собаку или птицу, и выпустила в окно, так он действует ей на нервы, хорошенько бы его избила: разве возможно, что он не верит в движение, чтобы вот так, с голым задом, нахально прогуливаться туда-сюда, чтобы показать ей, что оно существует?!

Зудит? – спрашивает Девочка, опять надевает очки и дотрагивается до повисшего члена Ш., головка в красной сыпи, с отекающей крайней плотью. Она осматривает его сидя, наклонившись, запах его мужского пола щекочет ей ноздри, он стоит и смотрит куда-то в высокий потолок. – Где вы это подцепили? – спрашивает она тоном опытного врача и показывает пальцем, – с какой это вы лахудрой кувыркались?

Ни с кем, – слышит Мария, как отец клянется. – Ни с кем? – спрашивает докторша строго и копается в саквояже в поисках флакона с антибиотиком, – в самом деле? Мужчины иногда забываются, – говорит она и достает лошадиный шприц. Поворачивает его, Мария зажмуривается.

Я не..., – вопит Ш., чтобы перекрыть ее шлепок по коже, который расслабляет мышцу. – Я всегда был верен жене. – Ах, жене, – приговаривает Девочка, вынимает иглу из плоти и прижимает влажную ватку к кровавой точке. – Ну, тогда у нее спросите.

Мария больше не выдерживает, открывает дверь, заходит в комнату, хочет обнять отца, останавливается, он стоит со спущенными штанами, рыдает. – Пошла вон, ублюдочная, – кричит он ей, – вон отсюда! Закрывает глаза руками. Мария убегает в комнату, бросается на кровать, до утра не поднимает лица от подушки.

Уже настала ночь, когда в комнату входит отец, на цыпочках, стоит над ее головой, он хотел бы ее видеть. Мария притворяется, что крепко спит, дыхание отца искрится алкоголем, как лунным светом. Она хотела бы перешагнуть через оскорбление, приподняться и рассказать отцу, сквозь слезы, что видела и слышала Де-

вочку, когда он ее, Электру, гнал вон; как он бормочет несвязно, убеждая, магически заклиная, хмурия брови: плачь, ты плачешь, плачь. Вот тебе и гипноз.

Она хотела бы разоблачить ведьму, но сквозь ресницы видит мужчину, как он, сидя у нее в ногах, хнычет и трет свое зудящее междуножье, и передумала, зажмурилась еще крепче. Через некоторое время отец выходит из комнаты, и в доме до самого утра не слышно вообще ничего, кроме раскрытых мышеловок, захлопывающихся с треском, с писком.

* * *

Разве это рассказ о спасении, – сомневается Коста.

Они лежат в чужой постели, одетые как покойники.

К чему это выражение лица, – оскорбляется Мария.

Коста спросил бы о матери, но не решается. Он никогда ее не видел. Девочка, рассказывая о семье Марии, не скрывает разочарования. Но из горькой саги о принимаемых антабусах, антидепрессантах, седативах, инъекциях витаминов, глюкозы (все это только маски зависимости и бессилия) вырисовывается только образ Отца, и лишь где-то фоном образы Марии и брата, а от Матери – ни следа. Она – нечто, что время от времени угадывается вдалеке, скорее, как отпечаток губ на стекле семейной фотографии в кокетливой рамке, и Коста, не углубляясь, без усилий, предположил, что мать – скорее отражение неразумного ангелочка. С лицом Девочки.

Надо же, – удивляется юноша своему открытию. Где же мать семейства? С тех пор, как я здесь, – подводит он итог, – для меня существуют две неизвестные

величины, два табу – запертая на замок комната и никогда не виденная мать Марии.

Все прочее ему преподнесено в больших дозах. Например, с него уже хватит врачебных ошибок. Ту историю об исцеленном отце, – он ломится в дверь к Девочке, перед этим выпив весь запас духов, которые продает Мария, в поисках ключа от комнаты, в которой хранится довоенный нектар (к слову, не случись это с ней, человек с отрыжкой, отдающей болгарской розой, даже был бы симпатичен), ту историю о грандиозном промахе Девочки квартирант слышал столько раз, что уже иногда видит ее во сне и во сне осязает.

Будучи логичным (как сам утверждает) и консервативным, наш биограф умеет соединить эти два очевидных недостатка. Но вместо реалистической прозы он получает дешевый хоррор, воображая мать Марии заточенной в тайных покоях Девочки. Разумеется, нечто такое ему не кажется достойным пересказа. Положив руки под голову, он вскоре засыпает.

От дремы его пробуждает пение Марии, он слушает его, не открывая глаз. Целую вечность не слышал он этой колыбельной о пене морской, о легкости бытия, о краешке неба. *Прибегай сегодня вечером, до темноты и дождя, и возьми с собой свою песенку о счастье. Я ухожу, и, может быть, никогда не вернусь. А хотел я тебе что-то прекрасное сказать.* Потом вспомнил, чья она. В наше время из-за нее человек может нарваться на пулю.

Твое пение – это военное преступление, – говорит он.

Что, у меня совсем нет слуха? – она состроила смешную гримаску.

Ты шутишь, но эта песня в нынешних обстоятельствах, я имею в виду обломки бывшего государства, радикально изменила свое значение. Это больше не шлягер, а код. Запеть ее где-нибудь, значит, нарываться, провоцировать. Люди или поддержат, или будут возражать. Донесут на тебя, как на провокатора.

Ты говоришь, что теперь речь идет об изнасиловании, а не о любви?

Правильнее сказать: о другой степени чистоты.

Я думаю, что ты нечист, – Мария потянулась, обнажив подмышку с волосками, пробивающимися в форме сердечка. Косту неприятно удивляет и ее жалкая игра словами, и грязная мысль о ее теле. – Это я вместо нее чувствую стыд, – подумал он, держась за живот. Встает, чтобы найти питьевую соду от изжоги.

* * *

Господи, а это откуда?

Коста оборачивается, слизнув с кончика ножа белый порошок, и видит, что девушка стряхивает крошки и мусор с газеты, которую она достала из ящика, не задвинув его. Коста не выносит три вещи: копание в его интимных чувствах, выдвинутые ящики и когда кто-то читает газету через его плечо. Удивляется: надо же, как ей в один заход удалось вызвать девяносто процентов моего гнева. А она ничего не замечает, вообще. Коста стоит, ненавидя самого себя. Тот, кто совершает преступление из-за любви, меньший грешник?

Это твое объявление? – Мария показывает на обведенный от руки прямоугольник с мелким шрифтом? «Оказываю интеллектуальные услуги... тра-ля-ля...»
Маэстро, вам звонят клиенты?

Я его больше не повторяю.

Хозяйка отнимает у тебя все силы? – подшучивает девушка.

Было одно сообщение о смерти и один некролог, – писатель понимает, что оправдывается, – а, вообще-то, я планирую путеводитель.

Путеводитель?! Вот же ты нас осчастливишь! Раз-ве нормальный человек сюда поедет, только какой-нибудь сумасброд?!

Ну, не будет же так вечно, – сердится будущий автор.

Будет, будет... Или все будет по-другому, каждое здание, каждая травинка. Как в той песне, помнишь?

Как я был поспешен, – согнул колено Коста.

Здесь не хватает страницы, – констатирует Мария, расправляя газету, – с извещениями о смерти.

Возможно. Этой газетой я затыкал окно.

Посмотри, какая криминальная хроника! Случаются ли смерти из-за пения? *Водитель* (тут какое-то пятнышко)... Тот-то и тот-то, *бывший инструктор по вождению, перенес за рулем инфаркт и вызвал беспрецедентную ценную реакцию столкновений, настоящий карамболь в центре города*. Нам, как писателям, есть от этого польза? В смысле творческого импульса, разумеется. Плакать не будем. Вот, американцы страдают по аутентичным событиям. Все реже встречаются предупреждения, что «любое сходство с реальными лицами и событиями случайно». Сколько новых фильмов и романов выходят с примечанием, что они созданы «по следам реальных событий»! Люди, похоже, сходят с ума от универсально-прикладного гиперреализма.

Ничего нового. И Достоевский копался в газетных сообщениях...

Я говорю не о новом, а о тренде. Всем подавай голую правду, кого волнует чье-то воображение?

Да, но только при таком гипертрофировании теряются реальные контуры. Поднеси эту газету слишком близко к глазам, и не увидишь ничего, кроме пятен и спиралей, которые будут прыгать у тебя под веками. Каждая моя вымышленная смерть в меньшей степени смертна, чем все те, о которых ты читаешь. Такие свидетельства не являются литературой *par excellence*.

Ты должен снова это увидеть, – Мария достала из Костиного ящика стопку листов, перебирала их, пока не нашла соответствующий фрагмент. Когда критик «Обозрения» писал о выставке Десяти в новом Доме хорватских художников в Загребе, в сентябре сорокового года, а это была последняя прижизненная выставка Шупута, ему особенно не понравился *разлад между сегодняшней жизнью и искусством: то, что мы чувствуем волнение в сердце, в душе, в мозге, наши головы гудят от новостей с театра военных действий, наши нервы натянуты, как струны, а картины ничего не говорят об этих тревогах – столкновении миров, цивилизаций, которые действительно гибнут*.

Мария, я о Шупуте знаю меньше, чем последний ученик художественной школы. Но в одном уверен: он пишет то, что и все, потому что полагается на собственную силу. Когда пишешь Нотр-Дам, это еще Гомер сказал – «взошла розовоперстая Эос». Разве ты не любишь описывать уже описанные вещи: любовь, безумие, преступление, заход солнца? Разве ты должна ответить?

Но столько смертей...

Люди, так или иначе, часто умирают. Могильщики трудятся от зари до зари. Перекапывают могилы бед-

ноты, похороненной за общественный счет. Однажды приходишь с цветами, с угрызениями совести, к забытой дальней тетке, а там – нет могилы, исчезла. Покойник ожил... Мария, что с тобой?

Это он, – говорит она, побледнев, не замечая, что рвет ногтем бумагу. Похоже, это он.

Кто?

Тот, что вез меня от Сремски-Карловцев, тот симпатичный, любезный дядечка, в машине с наклейкой Д... Точно, он.

То же имя?

Я не знаю, как его зовут, – девушка прикусывает ноготь с облупившимся лаком. – Я вообще имена не запоминаю, поэтому никогда их и не спрашиваю... Но это точно он, говорю тебе. Ты мне должен верить.

Цирк

Мария нормальной не была. Ладно, «нормально» – это понятие относительное. Нормален ли я, нормален ли мир, и так далее. «Продвинутые», разумеется, припомнят доктора Лэйнга¹: типа, весь универсум сумасшедший, кроме сумасшедших... Так, это мы опускаем. Но Мария действительно была ненормальной. Разговоры о маниакально-депрессивных психозах, паранояльной шизофрении и черт его знает о чем еще оставим студнеобразным психиатрам. Слушай, Мария была чокнутая, психованная, тронутая. В конвенциональном смысле этих слов. Теперь, если не хочешь раз-

1 Рональд Дэвид Лэйнг (1927–1989) – шотландский психиатр, один из идеологов движения антипсихиатрии.

говаривать, продолжай капризничать дальше, но это единственный диагноз, который ты можешь у меня выцарапать (вместе с волоском из носа).

Первый раз я увидел ее на каком-то литературном вечере. Она была удивительно красива, хотя одета, как полоумная, в наполовину обгоревшей тунике из крашеной марлевки, в римских сандалиях-иисусовках, которые Христу наверняка бы жали. Стояло бабье лето, и после жаркого дня вдруг резко похолодало, словно упал нож гильотины.

Мария вышла на балкон, с которого читались произведения, и уличная шпана, остановившаяся ради чистого хулиганства, начала ей свистеть и что-то выкрикивать. (Разумеется, тут вообще не было нормальных, но это должно было случиться в самом конце, остаться как горькое послевкусие). Но она не обращала внимания, встала на цыпочки, чтобы достать до микрофона, подбежал техник ей помочь, возился со стойкой, потом слишком натянул запутавшийся провод, и мягкая губчатая головка микрофона стукнула ее по носу, бум. Бедняга застыл, растерянно пожал плечами, закрыл собой красивый вид. Думаю, что она его простила одной невинной улыбкой (счастливо отделавшийся, он скользнул куда-то за софиты), – я вижу, как сейчас.

А она прочистила горло и каким-то нездешним голосом произнесла:

Моя мать хотела, чтобы мне снился мотылек на сердечной короне, а мне приснился твой член,

сказала она серьезно, и я почувствовал, как мое сердечко сжимается, как гусеница – горбиком.

Мария все читала и читала, словно разрезала вены, но я ослеп. Когда фотографируемый таращится в объектив камеры, кого из обожателей иконы ты можешь убедить в том, что камера не следит именно за ним?

Но она меня не видела. Она все время была в компании какого-то мертвого, пьяного поэта. А тот, как я слышал, смея ради, окольцевал щенка; бывало, незнакомым людям ни с того, ни с сего, садился на колени. Я смотрел на них, как потом они в толпе, смеясь, вместе облизывают лимон. Они, и правда, были парой. (Как я хотел быть на его месте, чтобы она смеялась мне в лицо и опиралась на худую руку, я хотел быть на том сладком, грязном дне).

* * *

В принципе, я люблю следить за людьми. Уверяю, что письмо – это инспекция того же сорта. Если в какой-то момент они куда-то пошли, то и я иду за ними. Они меня не замечали. Петко, Петко, – я слышал, как она успокаивает счастливого-развалину. Человекоподобное время от времени останавливалось, воодушевленно размахивало какой-то бумажкой, прикладывало ее к стене или к спине девушки и что-то быстро писало.

Мария легко проскальзывала под руками, нежно стряхивая их с плеч, движением, похожим на раздевание. Коста слышал только обрывки их разговоров, и из-за дистанции, которую он был вынужден держать, чтобы остаться незамеченным, из-за поливальщиков улиц, чья цистерна гремела, а сами они, разворачивая толстые шланги, перекрикивались на невозможной смеси венгерского, сербского и цыганского.

Мокрые улицы блестели, как свиная кожа. Косте показалось, что он слышит малые и большие числа, одновременно. Мария оглянулась и посмотрела прямо на него. Он, избалованный, остановился, шагнул, притворно равнодушный, словно ничего не происходит. В принципе, я все равно пошел бы этой дорогой, оправдывает Коста свою сомнительную слежку. И это вся правда, — он уже клянется в полиции. Какой-то свет бьет ему прямо в глаза, он нервно моргает. По улице Пашича быстрее всего, а потом по Кисачкой или Теме-ринской, почти одинаково. Кто на этого человека показал бы пальцем?

Несколько лет назад он заходил в магазины самообслуживания и в антикварные лавки и крал, с письмом в кармане, которое объясняло, что он участвует в концептуальном перформансе, в нем говорилось о желании быть пойманным и оправдать свой стыд, что речь идет о художественной психодраме, инсценировке жизни и тому подобное. Обычно все заканчивалось так: он, спрятавшись за ящиками или полными контейнерами, доставал из карманов шоколадки с кокосом, сырки, мыло, съедобное запихивал в рот, а остальное оставлял, как для мертвых. (Только однажды детектив из магазина, переодетый рассеянным покупателем, который якобы ошибся в расчетах, поймал его в шаге от выхода, уволок в складскую сырость, и там, в ожидании полиции, заставил разжевать и проглотить художественный манифест, оправдание, он едва не погиб, подавившись, так сказать, на сцене). Я не знаю, о чем вы говорите, из центра я всегда возвращаюсь этой дорогой, у меня нет вариантов, что, с парашютом, что ли?

И так, копаясь в себе, он почти догнал пару, а мужчина обернулся и посмотрел на него исподлобья. Ничего не случится, — он задерживал дыхание, я спрошу их: почему вы за мной следите, люди, эти за мной следят, прилипли к спине. Эй, — позвал Петко, — эй, парень. — Коста остановился, сжимая кулаки в карманах. — Быстро назови какое-нибудь число.

Множество, — пробормотал Коста. — Меньшее, — предостерег мужчина, — это твое не подходит. И Коста понимает, что они заполняют лотерейный билет. — Ты похож на счастливого, — выходит из тени Мария. — Может быть, мы разбогатеем.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (VII)

Мастерская, улица Луи Барту, пять

– линогравюра, 25,5 x 16,3 –

Крещение

Помните, Миле Йованович на лестнице своего дома застал Богдана Шупута, рисующего на коленках? Так вот, что касается комфорта, с тех пор изменилось немного. Работал наш Богдан везде, где находил опору. Мольберт, скажем не без пафоса, был его родиной где угодно. В Париже, например, в мастерской Цуцы Сокич, а чаще на улице, на солнце, на коленках... На женских спинах? О, нет, для этого он был слишком стеснительным, наш Вальмон. И дома работал везде. Так до 1939 года, когда за 150 динаров в месяц он снял комнату на улице Луи Барту и превратил ее в мастерскую.

Эта улица и соседняя, вместе образуют подкову (точнее, бумеранг), и сегодня, по сравнению с оживленными окрестностями, тихая, словно немного проклятая, точнее, переоцененная, а дом номер 5 пустует, потому что никак не продается. (Это случайно звучало, как хорошо придуманное объявление). В паре шагов от Таможенной, самого первого пристанища семейства Шупутов в Нови-Саде, поэтому можно ска-

зять, что упомянутая подкова, если смотреть на нее глазами, слезящимися от ветра, замыкается в полный, очерченный детской рукой круг.

Натурицицы приходят вечерами. Из-за людей, мы же знаем, какие они. Прямо сейчас Богдан ждет маленькую мадьярку, от Миле. Это «от Миле» следует понимать условно, он утверждает, что между ними ничего нет, что девушка даже с кем-то живет, а их связь невинная и платоническая, что он ей помогает «Христа ради». Богдан больше не расспрашивает. Девушка ему вполне подходит, она спокойная, как погасший луч света. Во время работы они едва переговариваются, она почти не знает сербского.

Пока девушка позирует, Миле не сидит в мастерской, он прогуливается по улице, на которую осыпаются созревшие каштаны. Прошло два года с тех пор, как он ее привел в первый раз, нервничал, как сутенер с похмелья, только тогда их тройка встретилась в мастерской у Йовановичей на винограднике. День был какой-то противный, вторая половина, виллы давно закрыты на зиму, мерзлые ветки грецкого ореха хрустели под ногами. В конце концов, Шупут дал этой картине (холст, масло) название «Полубнаженная девочка», потому что чуть-чуть была видна юная девичья грудь. Красивой лепки голова, с двумя косами, наклонена вбок, словно ослабела шея. Можно было подумать, что тень грусти омрачила ее лицо, но нет, это начало простуды, слишком холодно для раздевания, неловкие молодые люди возятся с бесполезной печкой, потеют от бесплодных усилий, вскоре комната заполняется дымом, кашляют все, а девчушка еще и трясется в ознобе.

Миле сует ей смятые купюры. Одеваясь, девушка обещающе кивает головой, пытаясь ее склонить.

Ты побудешь один? – Не беспокойся. – Они понимают друг друга. Богдан смотрит им вслед, они уходят по гравийной дорожке. Миле накинуд девушке на плечи свой дождевик, покровительственно ее приобнял, что-то ей говорит. Богдан из окна, треснувшего от удара птицы, фиксирует взглядом его затылок, бормоча себе под нос: обернись, обернись. Если я сильнее, если у меня больше энергии, – он прочитал это в каком-то журнале, – то Миле должен обернуться. Должен.

Парочка спускается к реке, а Шупут воображает, что девушка под дождевиком полностью обнажена, и что сейчас внезапно, наполовину своя, наполовину чужая (как призрачная сирена) она прыгнет в холодный, мутный Дунай. Однако их уже не видно. Художник прислушивается, ждет, доносится только звук автомобильного мотора из-под холма. Дует на пальцы, потирает их, надо работать.

Скажем, что всю эту историю Шупут задумал в виде графики, линогравюры, обычного размера, 25,5 x 16,3. Он резал глубоко, самым широким лезвием резца. Больше всего его интригует яркий свет, исходящий от реки, больше неоткуда, девушка, в прыжке похожая на белый вихрь, воды или света, все равно, словно она бросается не в Дунай, а в бескрайнюю массу обнаженных тел, которые сплелись в любовных конвульсиях, как слизистый клубок змей. Я хочу полные легкие, как перед погружением в воду, прозрачный ритм, скандирование вечности, – кипятится Шупут, с усилием открывая тяжелые, заржавленные двери почти забытого винно-

го подвала. Он не исключает возможность того, что графика может быть миниатюрной, размером с клеймо на тыльной стороне ладони или совсем крохотная, тиражированная в бесчисленных оттисках, и, чтобы мы себя ею осыпали, как праздничным конфетти или пеплом.

Подвал сухой и глубокий, петли на массивных дверях заржавели и скрипят, замком можно убить. Его давно не используют, недостаток – слишком крутая лестница, на которой легко поскользнуться и слететь, как со спины мустанга. Юноши превратили подвал в прекрасное хранилище для картин Богдана. Есть и более подходящие для этого места, но тут дело в игре, в таинстве, в клятвах. Они сидят под землей, как ранние христиане, они верят, что находятся в новом, более прекрасном мире. Под светом карбидной лампы чередуются расставленные вокруг картины, меняются и лица заговорщиков. Все иначе, они выходят из подвала в упоении, в трансе, словно их барабанные перепонки полопались от крика Цирцеи.

И сейчас у Богдана, когда он один, кружится голова, выходя, он запирает дверь на огромный замок, который они между собой называют «пояс невинности». Поэтому и не сразу чувствует чью-то руку на плече. Потом вздрагивает, словно со сна, в страхе отпрыгивает в сторону. Сначала он не может разглядеть лица лесного духа, нет, это все-таки ведьма из домика в лесу, бах, меня разобьет паралич, откуда вы здесь, Девочка?

Я про вас знаю, – говорит Девочка с укоризной.

Вы зачем за нами следите?

Я вас охраняю.

Охраняете? Вы можете пострадать, наткнуться на волчий капкан или попасть в трясины, на вас могут напасть собаки, – пугает ее Богдан.

Ничего со мной не случится, если я с вами, – уверена девчушка. Богдану назойливая близость обременительна, но он ей все-таки рад. Какая же скотина человек, – посмеивается он про себя.

Почему здесь так холодно? – спрашивает Девочка, пиная дырявую дымовую трубу, – вы боитесь огня?

Я только что вошел, все вокруг влажно, даю вам динар, если найдете сухой хворост.

Я стою дороже динара...

Девочка, что вы такое говорите!

Ах, ну что вы притворяетесь? Я все знаю... И про катакомбы. Вы меня примете?

У Богдана звенит в ушах. Он не может отделаться от картины, на которой медленно входит в райскую реку, в Дунай, с Девочкой на руках, ее волосы свисают влажными кончиками, а она смотрит в небо. Священник не чувствует холода, не видит тумана, который по краям речной глади уже застывает ледяной коркой. Бормоча слова обряда, он погружает девушку в воду, она не закрывает глаз, пар дыхания виден между губами, которые Богдан Креститель приближает к своим, маленький святой.

Идиллический пейзаж. Театральная декорация на Дьвольской Мельнице

День-деньской Коста ничего не делает. Раскачивается на стуле, болтает ногой, посасывает трубку. Да, он нашел ее на дне ящика, никогда такой не видел. Она сделана в форме слоновьей головы, и запах у нее необычный, словно кто-то всю жизнь курил в ней розовые лепестки. Но ему противно думать об открытии, он таращится в окно на облака, которые постоянно меняют форму. Тяжелый человек. Заперся, чтобы работать, но никак не соберется и не начнет. Ему нечего почитать: допотопную газету отшвырнул. Сидит и теряет силы. Чувствует, что его сердце плавает в жиру, и ощупывает себя. Проводит пальцем по корешкам медицинских книг, как по ребрам. Подносит к носу подушечку пальца, она в пыли. Ненавижу свою работу, – говорит.

Ах, книги, книги, анонимные скелеты. Вот, например, еще вчера, утверждали, что мастурбация вызывает сухотку позвоночника, табак излечивает чуму, а душа не умирает. А сегодня эта вера приятна и вызывает онемение в месте инъекции, как пенициллин. Надо все эти книги выбросить, сжечь.

Однажды он видел человека, как тот падает на улице. День был ужасный, в атмосфере творилось черт знает что. Он и сам метеопат, знает, что означает для слабых такая перемена погоды. Короче, человек упал. Люди расступились, кто-то к нему наклонился. Вызовите врача! Есть ли здесь врач? Коста остался с любопытствующими. Кто-то заметил, что беднягу надо положить набок, чтобы не запал язык. Я умею, – сказал было Коста, но закусил губу. – Я не могу помочь, – сказал он громко, а тот, что услышал, обернулся и посмотрел на него. Я не могу помочь, – это он должен был сказать, но ушел. Разве не надо было подойти, найти пульс на шее умирающего, надавить на его сердце, прижать его губы к своим? Но это был бы предательский поцелуй!

Коста видит, как шарят по карманам человека, лежащего в обмороке, в поисках лекарств или адреса, ему показалось, что он столкнулся с разорителями гробниц, с теми, кто обкрадывает мертвецов. Он поспешил дальше сквозь толпу, роившуюся и глазающую, ничего не предпринимая. Я никому не могу помочь, я могу только обезобразить свое лицо, если кому-то надо, – хотел он объяснить, когда его оглушила сирена кареты скорой помощи, проехав совсем рядом.

* * *

Один из детских снов Косты, это, разумеется, сон о спасителе.

Я имею в виду чужака-одиночку, наравшегося на банду, терроризирующую город. В руках у него меч, в зубах у лошади – удила. Он избавитель, у него нет личного интереса, нет причины, поверь. Только послу-

шай, с каким воодушевлением его приветствует освобожденный народ! Важно ли, что *desperado* не имеет имени, или его зовут Иисусом? Он пришел. А теперь, крикун, марш из дому, как можно дальше... Вот такого мальчик дожидался, замерзая, каждую ночь.

Боюсь, что у Косты была слишком крупная голова для рьяного спасителя, хотя с этим трудно смириться. Ну, знаете, тельце и крупная голова. Он неплохо плавал (по этому признаку, может быть, и сгодился бы), но никогда так и не научился открывать глаза в воде, словно весь мир состоит из мыльной пены.

Вопреки подозрительным взглядам он записался на курс по спасению на водах, он знал и сам, что не годится для калифорнийской *мыльной оперы*, но он, по крайней мере, умел свистеть, даже когда улыбался.

Он овладел всеми навыками: как обездвигить тонущего, если тот сопротивляется, как его разбудить поцелуем, и все прочее, но только в теории, в воде он терялся, как слепец, спасал то, что поймал – камень, деревяшку, дохлятину.

Он не сдал экзамен. Еще какое-то время тренировался сам, тайком, но стоило ему открыть глаза, то тут же в ужасе выныривал, тер веки...

Проблему Косты не решил Иисус из страны Оз¹. В его руки попала Мария, совершенно случайно. Он держал ее крепко, почти задушил. Он, тайный спаситель. Супермен-недотепа. Спасатель для одноразового использования. Карманный Христос.

1 Вымышленная страна из книг американского классика детской литературы Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919).

Вслед за Марией он пришел и в литературный клуб. О, какая это была секта безотрадных моделей! Что заставило такое количество призраков писать о своих жизнях?

Тут были представители всех профессий, как в армии. Коста с ужасом узнал своего дантиста. Инстинктивно прикрыл рот руками. Если он такой же дантист, как и поэт, слава богу, что хоть одна коронка останется цела. Но сжимал зубы и оставался слушать.

Вы можете счесть это проклятием, маниакальной идеей, наваждением, для нас неважно, только он как-то механически, как робот, понимал, что должен сберечь Марию, вырвать ее из вороха бессмысленных житий, из абсурдной литературы. Зачем ей, в конце концов, пустые рассказы, весь этот стриптиз? Потеря времени. Погоня за пустотой, продление агонии, вот что это такое.

И кому ты, по сути дела, пишешь? Для какой-то аморфной массы? Ему тошно от тех, кто отрекается от заботы о ближнем, кто разочарован, потому что не может спасти весь мир. «Если нельзя спасти всех, то не надо спасать ни одного!» Вот такая извращенная логика! Мир давно потерян, – Коста это знал, – разрушен миллион лет назад, только свет проникает медленно, просто у нас нет проклятой информации, мы просто ошибочно интерпретируем. Существует только Один, если ты способен его увидеть. Литература для одного – это бессмыслица, не так ли? Оставим экспериментирование и причудливость, это не для нас. Но дать жизнь Одному, сотворить его из своего ребра, это искушение, это поле возможного. Мария, можно, я коснусь твоего лица?

Я тебя исцелю прикосновением, но только тебя. Я – ключ от одного замка, от твоего сверкающего пояса невинности. Для других я бесполезен, для других я беспомощен. Посмотри, как отвратительна литература. Попробуй дать имена своим чувствам, и станешь смешным, обобщенным, патетичным, неточным. Ты на самом деле излучаешь свет. Заслуживаю ли большего?

Поэтому он ничего не читал на этих удушающих сеансах, на этих аффирмациях агностицизма. Он даже никогда не записывался выступать. Главным образом, сидел, стараясь быть похожим на музыкальную шка тулку, которую заело. Но и это не требовалось, понял он вскоре. Было столько кандидатов жаждущих славы, готовых читать, пока не задохнутся от звуков собственного голоса, что его неучастие вряд ли кто-нибудь замечал. Все так алкали слушателей, все приходили на чтения, заткнув уши ватой.

Коста все-таки осматривался, с подозрением. Он распознавал старческую похоть, юношеское вожделе-ние, лесбийские сигналы. Сначала он думал, что с Мари-ей перебивали все, а потом, – что она не встречается ни с кем. Он гадал: может быть, ее в детстве изнасило-вали и отвергли. Что ее мать сидит в тюрьме, потому что задушила злодея. Что она может непорочно зачать. Он видел девушку в толпе обнаженных людей, это воз-буждало его настолько, что тошнило от шума. Картины наплывали одна на другую. Вот как литература отрав-ляет, как приканчивает.

Он уходил и возвращался. Рассматривал Марию со спины. Не спал. Ловил себя на том, что беседует с кош-кой. Кошка однажды в темноте ухмыльнулась и ска-

зала: *все мы сумасшедшие*. Я сумасшедший, – сказал Коста и гладил кошачью шерстку, от которой летели искры. (Черный щенок скребся в дверь).

Спаси меня, – умоляла Мария. Например, она поскользнулась и, не выпуская из рук лотерейного билета, вызвала из канализационного люка. Спаси меня. Ничего другого он не слышал. Он прикладывал ухо к ее груди, слышал шумы в сердце. Приблизился губами к ее губам. Заткнул ей нос.

* * *

Вот так все было. Если это не дилетантское литературное осложнение. Что-то просто случается. Об этом он размышлял, сидя в автобусе, идущим в Карловцы.

Он мог бы спасти маленькую Еву от безумного насильника, Девочку – из огня. Но малышку нашли с растерзанным гименом, со сломанной шеей, а Девочка выбралась сама, кашляя, с обожженной кожей.

Какой из меня спаситель, сетовал Коста, собирая рассыпавшиеся листы бумаги с пола автобуса, в смятении пытаясь сложить их по порядку, но путая еще больше. Пошел утренний дождь, а перед ним росла кучка мокрой бумаги, затоптанной подошвами пассажиров, спешащих к выходу.

Автобус остановился напротив семинарии, на конечной остановке, он стоял с открытыми дверями, урча мотором. Внутри больше никого не было, кроме Косты, который сжимал в руках испачканную бумагу, и водителя, который, пересчитав выручку, ждал. Прижав к себе бумаги, словно прикрывая наготу, Коста спустился по ступеням.

Он обошел высокую ограду здания архива, и, немного растерявшись, присел на край каменного цоколя, касаясь коленей головой. Так, согнувшись, он сидит несколько минут, ему плохо. Но, поняв, что его поза могла бы легко привлечь внимание прохожих, что его могли бы принять за пьяного или мертвого, и, только что, в автобусе, обеспокоенный встревоженный нежелательным вниманием к своей персоне, он выпрямился и подошел к питьевому фонтанчику с улыбающимися львиными мордами.

От резкого звука с церковной колокольни из мокрой травы взлетела стайка воробьев. Коста отвернулся от похоронной процессии. Еще издалека он мог видеть, что фонтанчик не работает, но, как в трансе, одурманный миражом, подошел к каменной коробке, ошупывал сухие трубы, выглядывающие из львиных голов, словно не веря, подносил пальцы к вискам и шейным артериям, как в пантомиме. Увидел на дне чаши пятна птичьего помета. Перед глазами все плыло. Выбрал скамейку, присел, пришел в себя.

Итак, тем утром он отправился в Карловцы, с драмой Джордже Яйчинаца под мышкой. Прежде чем уйти к цыганам и затеряться, ментор подарил юноше, в знак глубокой приверженности, свою драму (и те пейзажи, об этом мы уже упоминали), сказав, что тот может поступить с ней, как ему заблагорассудится, опубликовать под своим именем, сжечь, хранить, как старое письмо.

У него такого было полно. Коста, проходя, заставлял тонкую папиросную бумагу, заправленную в старую пишущую машинку, но, поскольку господин Яйчинац был лишен возможности публиковаться, рукописи

давили на него, захламляли пространство. Поэтому он от них избавлялся, раздавая, как потерпевший кораблекрушение из рассказов моряков отдает свою бутылку с запиской на милость и немилость капризной морской стихии. Он писал о детях, о карликах и об истории, это Коста, *oblique*¹, мог видеть. Пьеса, которую он сжимал в руке, была запутанная и странная, о мальчике и девочке, которые подожгли дом, а на первой странице был эпиграф:

*Когда пылал в пожаре город вечный, Рим,
Сад апельсиновый утопал в цвету,*

стихи Нерона. Честно говоря, Коста не очень-то понимал, в чем тут дело, он, в принципе, презирал театр, обычное кривляние, а драмы считал некой подготовкой, инструкциями, заметками, но не мог не видеть, что в этом есть определенный блеск, пьянящий ритм и сцены без границ, он чувствовал, что в этом лесу все не так просто. Однажды ему приснился дядя Джордже, прошедший по жизни Косты, как ангел с окровавленными крыльями, на мгновение припал к его плечу, утомленный, озарил его на минутку, исчез.

Так, понятное дело, – сентиментально размышлял Коста К., тогда, в том городском автобусе, любясь обычным лицом какой-то девушки (она сидела к нему в пол-оборота), однако ее лицо он будет помнить всю жизнь, совершенно беспричинно. И когда они позже будут сталкиваться (мир все-таки подобен маленькой клетке), он вспомнит их первую встречу, равнодушно наблюдая ее медленное увядание.

1 Искоса, скосив глаза, краем глаза (франц.).

Яйчинац, Яйчинац, Яйчинац, повторял он вполголоса, беспрестанно (двигатель шумел, и ничего не было слышно), ровно столько раз, сколько необходимо, чтобы имя потеряло смысл. Джордже Яйчинац? Разве это должно что-то значить, это для кого-нибудь что-то значит?

Когда пылал в пожаре город вечный, Рим, – он бормотал стихи, собираясь встать со скамьи и отправиться на улицу Маршала Тито, или как она теперь называется, потому что латунную табличку с названием сняли, и взгляд упирается в пустой неоштукатуренный прямоугольник на стене, в разорванную метрику. Может быть, я сразу узнаю дом, – надеялся он, но, торопливо переходя площадь, едва не столкнулся с какой-то женщиной, которая сердито и с любопытством взглянула на него, а он сразу понял, что это еще одна пара назойливых глаз из автобуса, и едва не заслонил рукописью лицо.

Сад апельсиновый утонул в цвету, значит, это мог быть январь или февраль, если я что-то понимаю в ботанике, в одном из многочисленных уголков Костиной мансарды стояло пластмассовое лимонное деревце, которое душило его по ночам.

* * *

Драма господина Яйчинаца долго томилась на дне всех Костиных коробок и чемоданов, он не знал, как с ней поступить, перекладывал ее с места на место, брал в руки, потом опять со стыдом заваливал разными мелочами, и, вот, пожалуйста, садится в автобус, на остановке у рынка (чувствуются ли запахи выхлопных газов и дохлой рыбы?), держит старую рукопись в руках и пересчитывает мелочь.

До Карловцев? – растерянно спрашивает водителя, у которого берет билет, а тот презрительным взглядом показывает на табличку, где все написано. Коста пристыженно кивает головой и ищет свободное место. Не такой уж он недотепа, это известно, но не любит путешествовать, ненавидит переезжать, впрочем, он никуда и не ездит, его укачивает даже на таких незначительных, пригородных маршрутах.

Потому что и Карловцы, когда-то холм на Фрушка-Горе, откуда видны три империи, теперь просто захолустье в пригороде, которое служит декорацией для исторических фильмов. По какому-то политическому решению требуется вернуть прежний блеск, и, кстати, одному нашему знакомому по литературному клубу, счастливчику, поручено превратить старый кинотеатр в театр. Когда Коста наткнулся на эту новость в какой-то старой газете (валявшейся в комнате бог знает сколько времени), то вспомнил про драму, отряхнул прах с ее крыл и отправился к знакомцу в Карловцы, чтобы продать ему пьесу о маленьких пироманах, подписанную псевдонимом *Джордже Яйчинац*.

Кто бы мог подумать, что здание горело, спрашивает его директор несуществующего театра (обводя ручкой в кружок какие-то цифры), ожидалось, что будет хотя бы немного дыма, разве нет? Но это ответ на вопрос Косты, потому что дом, карловацкий дом Девочки он ни за что не сможет найти.

Где кладбище? – спрашивает приезжий.

Кладбище? – удивляется Петко, описывая рукой круг. – Везде.

* * *

Коста сидит в автобусе, смотрит в большое окно, но в нем он может увидеть только отражение на стекле своего треугольного лица. Ночь, видите ли, из автобуса, в котором горит свет, ничего не видно, и сколько он не приближался к стеклу, загораживаясь ладонями от внутреннего света, все равно почти поцеловал собственное лицо.

Он хорошо знает, что с той стороны должна быть железная дорога, болото с камышом и рогозом, яблони у насыпи, он больше чувствует желудком, чем слышит урчание мотора при подъеме на Пуцкарош, но ни в чем не уверен, действительность его не убеждает: если бы вдоль дороги не мелькали вербы, если бы железная дорога неожиданно не исчезла, как река, уходящая под землю, вылетели бы на случайный выстрел охотника из камышовых зарослей дикие утки или замерзшие души, чужие ангелы?

Подобные мысли быстро утомляют, и он отлипает от окна. Слышит за спиной голоса, и из разговора, на мелководье которого он оказался, делает вывод, что это семинаристы. Он не любопытен, но было бы глупо затыкать пальцами уши. Разве это не по-человечески? Если бы Бог за нами не присматривал, мы бы, наверное, исчезли. Вопреки логике, пока не умрешь, не можешь быть уверен в том, что ты смертен.

Кто ближе к Богу, — все еще размышляет он и скрещивает затекшие ноги, — монах-жеребец, противящийся своей природе, воздерживающийся, замурованный в целибате, или монах неопределенного пола, тот, которому абстиненция подходит? Кто тут больший мученик? Кто из них ближе к спасению?

И чем, собственно говоря, должно быть спасение, — задается вопросом наш безответственный схоласт, готовый пуститься в подсчеты, сколько ангелов, например, может уместиться между его стиснутыми зубами. И не перестает удивляться, насколько та же самая дорога, тот же пейзаж, выглядят иначе, когда возвращаешься, словно начинаешь рассказ с последнего слова.

Автобус останавливается рядом с церковью в районе Текие по одну сторону дороги и на расстоянии вытянутой руки от «Маленького рая» по другую, Коста вытягивает голову в плечи, дрожит. Скажем так, сила человека ничтожно мала, узки его глаза, но, говорят, кошка с этого места могла бы увидеть другой автобус, закопанный в холм, без колес, двигателя и живой души, переоборудованный в дачный домик. Оттуда, кто знает, с какого зеноновского пути, сегодня утром сошла женщина, он ее очень хорошо видел, она бежала вниз по склону, теряя тапочки, махала шоферу, кликуша, полиэтиленовым пакетом, из которого выглядывали лопатка, грабельки и прочий инструмент для игры в песочке или ухода за могилой.

Она вошла, протиснувшись мимо колен юноши на свободное место у окна, села, запыхавшаяся, обернулась к попутчику спросить про погоду, помрачнела, расцарапала ему лицо.

* * *

Сейчас из темноты никто не выходит. Три двери медленно и со скрипом закрываются, автобус едет дальше, объезжая свернувшихся в клубок ежей.

Оглушенный неравномерными ударами сердца, молодой человек выпрямляется, готовясь выйти, бежать.

Кладет руку на грудь под рубашку, нажимает на грудину.

И так, полусидя, на полусогнутых ногах, с холодными пальцами (хотя сердце само по себе прекращает бесноваться), замечает, что один из семинаристов, с бычьей шеей, ловко ей-богу, и незаметно вытаскивает кошелек из кармана человека, сидящего на колесе, расставив ноги, между которыми сгрудились дети.

Карманник двумя пальцами опустошает кошелек, шуршат немецкие марки и динары в завалах нулей. Прячет их в свой карман, с кислым выражением лица. Потом искоса смотрит на ограбленного, и после небольшой паузы и размышления постукивает бедолагу тем же самым бумажником из «чертовой кожи» по плечу: алё, сосед, это не вы уронили? Тот поворачивается, сжимает пакет, сквозь который сочится кровь, спасибо тебе, сынок, говорит, заглядывает в кошелек.

И только тогда Коста узнаёт Ш., его лицо нервно подрагивает. А деньги, — спрашивает человек, глотая слюну, — какие деньги, — как бы удивляется семинарист, — ничего не знаю ни про какие деньги. — Тут были деньги, — пытается Ш. умоляюще, оборачивается, мальчик слезает с его коленей. Заглядывают под сиденье.

Он тут просто лежал, — семинарист показывает человеку под ноги, — я его поднял, вернул, вы же не думаете, что это я? — Ни в коем случае, — Ш. его успокаивает, наверное, выпали... У меня здесь была вся зарплата.

У семинариста оскорбленное выражение лица. Поможешь человеку, а потом... Повышает голос, оборачивается к свидетелям. Двое или трое опускают головы, один заговорщицки усмехается, всегда один такой най-

дется, как раз для отличного цирка. – Окажешь кому-нибудь услугу, а получается, что я виноват, лучше бы отвернулся... – Нет, нет, – напрасно уверяет его Ш.

У меня только мои гроши, – достает украденные деньги из кармана и показывает сначала тому человеку, а потом и Косте, под нос, и Коста слышит себя, как говорит: да, да.

Мне надо было потребовать вознаграждение, такой порядок, я хочу вознаграждение, – трюкач хватается человека за лацкан пиджака и протягивает руку. – У меня нет ни гроша, – оправдывается Ш., хлопая себя по карманам. – Какое мне дело, такой порядок, что тут поде-лаешь. Дай десять процентов, и разойдемся, как люди, по рукам, мы же не турки какие-нибудь...

Отстань от меня, у меня нет, – пискнул человек. – Хорошо, можно и по-другому... Что это у тебя, – отнимает у Ш. пакет. – Свинью закололи, – простонал человек, пытаюсь удержать пакет с другого края.

Это что? – уже всерьез орет семинарист, сквозь дырочку в пакете кровь капает на его ботинки. – Смотри, что ты мне сделал. – Сует руку в пакет и достает крупное свиное сердце со свисающими сосудами, словно его только что вырвали из груди вепря. Сердце вы-скальзывает, вырывается, начинает прыгать по полу, обливая пассажиров кровью. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался, а сердце пульсировало, желудочки сжимались, трепетали клапаны, которые легко можно было имплантировать в человеческую грудь.

Смотри, что ты натворил, – заорал семинарист, – и вытер окровавленные пальцы о лицо Ш.

Папочка, папочка, – кричал мальчик, – пожалуйста, оставьте в покое моего папочку.

Автобус резко остановился на повороте после моста, пассажиров занесло. – Откройте двери, – все повыскакивали вон. Отец и сын остались в пустом автобусе, до конечной остановки.

Сдав смену, водитель автобуса после двух стаканчиков виньяка в станционном буфете «Ковиль» клялся официантке (с набухшими венами и силиконовой задницей), как, закуривая, он взглядом проводил мужчину, опиравшегося на мальчика, тот обеими руками сжимал дрожащее сердце свиньи, а когда они вышли на открытое место, в сторону Косовской улицы, мужчина выпустил сердце из рук, и оно, мама дорогая, взлетело, как птичка из фотоаппарата.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (VIII)

Сараево – Дьявольская Мельница

– сангина, крупный формат –
бумага, масло, 58,5 x 48,5 –

Солдатский бал

В тысяча девятьсот сороковом, в феврале, в Павильоне «Цвиета Зузорич», Шупут с группой «Десяти» выставляет свою «Девочку в саду». С ноября его призвали в армию, он пехотинец, в одной из казарм, откуда открывается панорама Сараево. Место словно нарочно придумано для прицела, весь город на мушке, никто не промахнется.

Той зимой солдата навестит Девочка, точнее, Миле, который приедет в Боснию по каким-то отцовским делам. Свидание было кратким и нервным, им едва удалось перекинуться парой слов, только общие места и сплетни. В конце они даже слегка поспорили. На безобидное замечание Миле, что картины Богдана кажутся ему слишком неспешными, тот, возбужденный общим беспокойством, ответил слишком грубо и пренебрежительно, что, мол, Миле врач, а все они полуинтеллигенты (мы умолчим о том, что и большинство художников тоже).

Но, ослепленный какой-то желчностью, Шупут продолжал: ты сейчас обвинишь меня в том, что

я реакционер, потому что тот мой «Улцинь» весной купил Драгиша Цветкович, за три тысячи, а кое-что от него перепало и самым бедным участникам выставки. Но не все буржуйчики, не у каждого есть всё.

Выплескивая злость, Шупут знал, что ошибается, но какая-то сила не давала ему остановиться, прикусить язык, гнойник лопнул, яд должен был истечь. И ни на мгновение он не взглянул на Девочку, хотя именно из-за нее и петушился, что-то в нем надламывалось, из-за этого поношенного обмундирования, из-за обритой головы, из-за живота, в котором бродили газы от вареной капусты.

Девочку, однако, все это мало трогало. Вообще-то, она была в восторге от города, едва удерживалась от того, чтобы лечь в снег. Сначала ее немного подташнивало с дороги, но она быстро отдышалась. Молодые девушки легковверны и трогательны, а Восток так чарующ, что она не сопротивлялась бы, похитить ее кто-нибудь и преврати в рабыню, танцовщицу, исполняющую танец живота, звезду, которую косит серп полумесяца. Это было видно по ее глазам.

По правде говоря, она Богдана и не слушала. На нее вообще не произвела никакого впечатления его фривольная похвальба, как он выходит в город только для развлечения и удовлетворения некоторых потребностей гражданской жизни. Миле был огорчен, что друг так низко пал, не понимал его, и на резкий вопрос, что нового, едва промямлил, что на фоне всех прочих новостей, со всех столбов на дорогах убрали знаки, абсолютно все, что бедный Богдан воспринял как презрение и иронию, и опять схватился за сердце. Вот так, их последняя встреча закончилась плохо. Ну, и ладно,

оскалился Богдан, *good bye, mister Chips*, только без ссоры, но искренне, а теперь я отправляюсь к моим клопам и артиллеристам, и хотя время увольнительной еще не истекло, он бродил по городу один, опоздал и был наказан нарядом вне очереди.

Я им напишу, – обещал он себе, отдраивая уборные и натирая колени.

Мы не обнаружили следов того, что он свое слово сдержал.

(Это «Сараево» должно было быть нарисовано сангиной, тонкими штрихами, на внешней стене летней виллы, как знак узнавания и искупления, пока его не смоем первый сильный дождь).

Потому что мой ящик с красками, мой этюдник, – горячо объясняет Богдан, – все кто-то украл в Сараево из казармы, все. С 5 мая 1941 года Шупут в плену у немцев).

II

На картинах из неволи трудно рассмотреть лицо Шупута, заслоненное штабелями изуродованных тел, которые он переносит на руках, шатаясь на ходу. Хотя хороший знакомый узнает его по походке, и, разумеется, по ладоням, которые на первом плане. Мы могли бы побиться об заклад, что у него на ладонях мозоли, потому что это так естественно для человека, которому и ложку в руках удержать трудно, а он непостижимым образом становится работником на лесопилке. Но Шупут об этом не рассказывает, а вечерами дует на полураскрытые ладони (поднося их к лицу, словно собираясь умыться), легонько дует в ла-

дони, как на миску с кровяной колбасой, только что снятой с огня.

Они из разных мест. В его бараке тихо похрапывает какой-то учитель из Шабаца, свет лагерного прожектора, проникая сквозь решетку, падает на темя Мошоринаца Чеды Павлова, лицо Благомира Доганджича очень подходит, чтобы его нарисовать углем, он красиво курит в сумерках, но охотнее всего Богдан общается с уроженцами Нови-Сада, Эмилем Шошбергером, Рашей Радуйковым и Георгием Яйчинацем, и еще с неким молчаливым Палом Блашковичем, мастером по починке обуви. Так, наверное, он ближе к дому.

Фрицы с ними обходятся скверно. Инженер Шмидт, директор завода, их истязает. Они думают, что мы дикари, фовисты, причитает про себя Шупут, вытирая окровавленные ладони о кору дерева. Смотряка, он оставляет после себя чистый цвет.

Место, где они находятся, называется Дьявольская Мельница (если не Ангельская Могила, иногда Богдан в бреду не различает).

Но вражда в какой-то мере притупляется, когда военнопленные по памяти поставят спектакль, многие зрители, хотя косоглазие из-за этого непонятного, славянского языкового истечения кровью, рассмешит, когда лагерная кошка (которая, похоже, играет роль барсука), фыркая, выскочит из мешка и сбежит, попутно расцарапав Давида, безумного еврея!

Известно, что декорации для «Барсука перед судом»¹ изготовил Богдан Шупут, из тряпок, и так

1 Сатирическая пьеса (1904) классика сербской и боснийской литературы Петара Кочича (1877–1916) о положении сербов в Австро-Венгрии.

искусно, что даже господин инженер его похвалил, заинтересовался талантом (удивляясь божьей расточительности). И вот Богдан снова за мольбертом, разглаживает черты неподвижного лица Шмидта, усаживает его и тянет за нос, как цирюльник.

*Известно, что он также нарисовал эмблему места их принудительного пребывания: на правой стороне облака, рассеченного пополам, голова ухмыляющегося дьявола (рог, острое ухо, борода), а на левой – пейзаж, местность, где они живут (дом, сосны, завод). В верхней части эмблемы скрещенные пила и кирка (помилуйте, как серп и молот!), а на пиле буквы **К и К**, что может означать все, что угодно, а для довольного директора то, что он ожидает, – *Katz und Klumpp*, название завода. («Неважно, как завод называется, если труба его дымит!»)*

И так пейзаж Дьявольской Мельницы сохранился на картине Шупута, не говоря уже о реальности, только декорации к спектаклю о Дьявольской Мельнице были во время войны уничтожены, но бывают дни, когда нам кажется, что все наоборот – четкие, ваноговские границы пейзажа разорваны, затуманены, а декорация, которая имитировала, стилизовала этот ландшафт, каким-то чудом уцелела и пребывает в нашем сне, как пустой, вечный Колизей, гладиаторы с гладкими мышцами, с узлами жесткокрылых вен и удивительные звери, давно не знающие страха, скажем, мертвые, словно речь идет о дагерротипе какого-нибудь певца, арию которого невозможно реконструировать по изгибу губ, словно она никогда не существовала, словно ее на мельчайшие, тончайшие посвистывания смолола, смолола Дьявольская Мельница.

Все свободы

Так, лежа в летние предрассветные часы, Богдан может из позы лягушки видеть чьи-то отекающие, посиневшие ступни, толстые желтые ногти и ноги, теряющиеся где-то около голых щиколоток в высоте, в темноте. Ему не мешает странный угол зрения, искривленный вид комнаты, ему противно думать, противно просыпаться, он чувствует, как от однообразной пищи и ужаса возвращается давнее малокровие, ему трудно очнуться от вязкой сонливости, от забывтья.

Он опять закрывает глаза, притянутый каким-то глубоким магнитом. Картина исчезла совсем. Слышен только тихий, загадочный скрип. Вдруг Богдан вздрагивает, вскрикивает. Вскакивает с постели, шатается, ослепнув, и, чтобы не упасть, хватается за железный край, за ноги товарища по несчастью Л. Р., который висит. Он обнимает его так сильно, что разбуженные заключенные едва их разделяют.

Потом, придавленный собственной диафрагмой, с мучительной одышкой, в то утро, копая еще одну могилу, Богдан, возможно, думает, что самоубийство, по сути, единственная настоящая философская проблема. Только потом приходит черед осознания, определения мира. Когда решишься.

Богдан размышляет, может быть, не в таком порядке и не такими словами, но в любом случае погамлетовски сомневается. Высока вероятность того, что время от времени он задается вопросом, в смерти ли бытие. Умный человек за свою жизнь размышляет

о многих вещах, и об этих наверняка тоже, особенно когда лопатой заденет закопанный череп и достанет его, засунув пальцы в пустые глазницы. Как он совершенен в своей простоте! С какого пиратского флага он докатился сюда, из чьих рук?

Жить или не жить? Не жить? А лучше всего было и не родиться.

* * *

Военнопленные, чтобы отойти от края, спастись от депрессии, учредили подпольную организацию «Товарищ». Укреплять моральный дух в таких условиях — это как распространять эпидемию куриной слепоты, Шупут воздерживается, но охотно присоединяется вместе с Радуйковым к джаз-банду. Бывают вечера, когда они, смеясь и намазав лица черным, толстыми губами «наигрывают» душевную негритянскую музыку. Богдан то трубач, то тромбонист, то вдруг начинает бубнить, как контрабас. Щеки надуваются, вены натягиваются. Бывают моменты, когда Богдан почти счастлив, он забывается, опустив пальцы в теплый пепел, в золу.

Портрет Пала Б.

Такая же точно была у моего отца, — удивляется Шупут, увидев трубку в форме слоновьей головы, а его модель покусывает пустую трубку, как леденец. От портретирования Шмидта остались кое-какие материалы, и Богдан в перерывах выбирает место, садится лицом к Палу. Если бы его спросили, есть ли у него

разрешение, знает ли вообще рисуемый, что кто-то затеняет ему виски, Богдан недоуменно пожал бы плечами. Но все как-то нормально, Пал неподвижен, как ящерица, лицо каменное. Трубка у него с незапамятных времен, скорее всего, от какой-нибудь бедной матушки, у которой не хватало денег, чтобы оплатить услугу. Вообще-то, он ее и там редко курил. Больше любил сигареты, за их остроту на обожженном языке. Трубочка ему больше служила игрушкой, он вертел ее в руках, посасывал без табака, стучал ее круглым, твердым пузиком по легкомысленной голове ребенка.

Прокопие, – вспомнил Богдан, – вот, так звали моего бедного папочку.

Немецкие овчарки наострили уши. Желтая солдатская труба сыграла вечернюю зорю. Вставая, Пал подал Богдану трубку, который тайком, благоговейно, делает одну затяжку несуществующим дымом.

* * *

Дорогой мой Богдан!

Я не знаю, что ты и как ты, когда я это пишу, ни где буду я, когда ты будешь это читать. Нови-Сад венгерский, а наш виноградник остался в другом государстве. До Фрушка-Горы нынче, ей-богу, как на велосипеде до Луны! Наша теперешняя власть приняла постановление выселить всех, кто до октября тысяча девятьсот восемнадцатого года родился за пределами этой территории. Поэтому твоя мать и тетка оказались в Руме, сначала у кумовьев, а потом у Николаевичей. Но ты не беспокойся. Они быстро доказали, что родились в Австро-Венгерской империи, и по настоящему госпо-

жи Эвицы довольно быстро вернулись в Ujvidégh¹. Они просили меня сообщить тебе ваш новый адрес: Dr Bar-dossy László utca 34/II/. Тебя это не должно запутать, это прежняя Дунайская, недалеко от вашей старой квартиры. Ты сразу приезжай сюда, когда тебя, как буньева по матери, отпустят. А потом и мы с тобой увидимся. Все тебя обнимают и ждут.

Твой Миле.

1 Нови-Сад (венг.).

За колючей проволокой

В тайную комнату Девочки Йованович, Коста Крстич проник сразу же после ее отъезда.

Дверь поддалась на удивление легко (с учетом тщательного запираания на замок и вызывающей тайны вокруг всего этого дела, что квартиранта давно нервировало). Он даже не стал ждать Марию, и как только уложил чемоданы в автомобиль (один с необходимыми личными вещами, а другой с медицинским барахлом), и еще не развеялись выхлопные газы, не думая о том, что женщина могла бы вернуться за какой-нибудь забытой вещью или вообще передумать и изменить планы, Коста, едва перестав махать с порога, заложил левую руку под правую подмышку и навалился на дверь, ударил раз-другой, из дыр в стене разбежались жучки-древоточцы, на петлях, красных от ржавчины, взломщик мог увидеть остатки штукатурки и дерева, если бы, жмурясь от поднявшейся пыли, потирая плечо, не привыкший к темноте, обернулся, осторожно вставая на упавшую дверь, словно шел по воде.

* * *

Прежде чем собраться в Боснию (Коста утверждает, что решение она приняла внезапно, заразившись путаными идеями жертвы и спасения, которые в последнее время невнятно проповедовала, все чаще за

обедом, а Коста приписывал это приступам капризной ностальгии и неясного отчаяния, так вот, о намерении она сообщила ему в то утро, когда он накануне приехал из Карловцев, еще лежал в постели, измученный похмельем, и пытался вспомнить то, что случилось наяву), Девочка не оставила ему никаких особых распоряжений, ту комнату вообще не упоминала, да, потребовала рукопись своей биографии, посмотреть, но когда Коста стал рыться в ящиках, где старые газеты в мушиных экскрементах перепутались с жизнеописанием Шупута, драмой и всякими разрозненными записями, она потеряла терпение и сказала, – ладно у меня нет времени, я тебе верю.

Я не знаю, где начало, где-то здесь, что это за инспекция?

Он еще хотел сказать, что именно начало его убивает, если бы он нашел подходящую формулировку, потом стало бы легче, он стеснялся начать чем-то фее-ричным, ну, раз не получается, то чем-то скандальным, чем-то, что будут пересказывать, что запомнят, может быть, только одним словом, например, словом «хрен», у кого найдутся силы начать именно так.

Начала несносны, думал Коста, если это не получается, тогда полное фиаско, сколько раз он хотел сказать:

Рассказ надо открыть скрипичным ключом, насвистеть его.

* * *

Слушай, если ты не знаешь, где начало, не надо, не ищи, – уверяла Девочка Косту, который продолжал копаться в бумагах. – С началом проблем не будет, вот

тебе конец, – говорит она, и Коста останавливается, а на странице, которая скользила между его пальцев, какие-то дети от боли видели перед глазами «светлячков».

Конец? – Коста поднял голову.

Я еду туда. Тебе этого не понять, – говорит она спокойно, и Коста словно впервые видит старуху, с волосами, собранными в пучок, в камуфляжной форме, которую можно купить на барахолке, с красным крестом на руке, расплзавшимся по белому платку, как рана.

Когда вернусь, не знаю. Следи за домом, пиши. Прочту, когда вернусь, я еще немного поживу. Ничего не трогай.

Это так по-детски, – упрямылся Коста, вы даже не знаете, куда вам, в какой призывной пункт, вас не возьмут.

Я тебе расскажу, – пообещала Девочка, и поцеловала его в темечко.

Как я вам завидую, – восхищенно прошептал юноша.

Не надо. Я – доброволец, а не самоубийца, – воскликнула женщина, села за руль, посигналила.

* * *

Уехав, Девочка никак не давала о себе знать. Смотри-ка, сколько скопилось у Косты одиноких дней. Если бы за каждый день отсутствия он складывал по перышку у дверей, кто знает, мог бы он из-за этой кучи что-нибудь увидеть. И вообще, словно нет ветра, словно он окружил себя пуховыми стенами.

Бывали моменты, когда он никак не мог вспомнить лицо Девочки. Да, он все время натыкался на ее порт-

рет, написанный (надо ли говорить?) Б. Ш., да, ее фотографии повсюду, но она фотографировалась только в счастливые дни, трудно в девических чертах разглядеть лицо, которое он знает.

Словно он страшно напился, а теперь кто-то обвиняющим тоном рассказывает, что он натворил в пьяном виде, а он никак не может поверить услышанному, машет головой, уверяет: нет, нет, это не я.

Биографию он забросил, он и так все писал о себе. Живет в чужом доме, как подсудимый. Порядок наводит редко и тихо. Но в этих местах ничто не может пройти незамеченным, жизнь здесь – проблема. Иногда ему всерьез хочется и самому исчезнуть, если бы знать, где это место без теней.

К нему приходили писатели и Мария. Спрашивают, что с загородным имением. Понятия не имею, хозяйка в отъезде. Что с ним, кто он, зритель, родственник, внебрачный ребенок? Какие у тебя права на все это, есть ли у тебя что-нибудь в письменном виде? Коста молчит, достает из ящика исписанную бумагу, угрожающе трясет ею над головой, коротко, фотографической вспышкой, прежде чем положить на место, грохнет выпяченной челюстью комода. Не собирается ли он пойти к адвокату, чтобы уточнить свое положение.

Имейте терпение, госпожа Йованович вот-вот вернется, у меня предчувствие, – врет он всем и молится Богу. Когда ему удастся от них отделаться, то иной раз становится страшно: что если она лежит в коме, или сошла с ума, или померла, кто знает, что об этом надо сообщить мне?

Задается вопросами, позволяет собачке слизнуть ужас с его лица.

И с той дверью он ничего не сделал. Она так с тех пор и лежит. По правде говоря, вся та комната похожа на разоренное гнездо. Мария влетела, запыхавшись, нетерпеливая, жаждущая. – Где они, где они? Куда ты убрал картины? – Вот одна, которую ты можешь увидеть, – он показал рукой на окно в решетке. – Врешь, – взвизгнула она, начала разбрасывать то немного, что осталось от вещей Пала.

* * *

Впрочем, чем дольше он оставался у Девочки, даже задолго до взлома, он все меньше верил, что в запертом наглухо помещении есть что-то на продажу. Особенно он не был склонен поверить в шаткие предположения Марии. Он ее слушал, потому что ему нравилось, как ее горячее дыхание щекочет ухо.

После первого возвращения из Парижа, – с жаром убеждала она, – Шупут дома, по памяти, написал *«Виноградник Йовановичей в Карловцах»*.

Да, да, кивал он (словно отвечая по «горячей» телефонной линии на изнеженный, пылкий голос проститутки), только во всех книгах сказано, что картина сгорела в пожаре...

Какой пожар, это было любовное преувеличение, а не элемент, не стихия. Здесь не было ничего от реальности, все было под контролем.

А разве ты не видела ее руки?

Какой ты легковверный, – Мария с презрением его отталкивала. – Ты думаешь, что можно было иным спо-

собом привлечь внимание охладевшего, колеблющегося любовника, кроме как ложным пароксизмом, самоубийством в языках пламени?

Подожди, ты сама говорила, что венгр ее бросил, когда она не захотела переписать дом и виноградник на его детей, а несчастная открыла газ, и, похоже, уснула, одурманенная отравой, а потом вдруг закурила сигарету, машинально, бессознательно...

Это истории для полиции и малых детей. Знаешь, кто ее спас? Никто. Она сама на четвереньках поползла до двери! А кто должен был ее спасти? Ты? Нет, дорогой, ее возлюбленный инструктор, которому она назначила свидание, наверняка дав ему понять, что передумала. Он должен был стать ее убаюканным спасителем, наивный ты.

Если и так, почему она убирала Шупута, ведь картины могли случайно пострадать?

Господи, да где ты видел, чтобы картины старого любовника показывали новому? Разве ты веришь в несчастные случаи?

* * *

Так девушка ему морочила голову. Но не сам ли он отождествляет жизнь с триллером, историю – с детективом? Кто бы признался в том, что жизнь не имеет никакой формы, что кто-то появляется и уходит навсегда, что что-то может случиться, но при этом не будет дважды подчеркнуто толстым графитным карандашом?

По крайней мере, судьбы делаются легко: сколько раз он подумал, что Марию кто-то взял силой, поэтому она так холодна, а ее мать плеснула насильнику в лицо

едким натром, и поэтому ее нет? Сказать, что дело было в неприятном запахе изо рта? Побег из дому? Стереотипная смерть? Нет, все-таки мы проживаем не жизнь, а биографии. Жизнь – это предсмертная актерская игра. Поиск последних слов.

Поэтому я стоял в Карловцах и прикасался к дому Девочки, словно он еще мог быть теплым. Вышел новый хозяин и враждебно на меня смотрел, пока я не скрылся за углом, наверное, уверенный в том, что я со странностями. Я его понимал. Берегись, хотел я ему сказать, может быть, в пожаре погиб маленький божок, дух дома, вот бы было дико, он бы точно послал меня к черту.

Я не могу его спасти, – повторял Коста себе под нос, уходя, а сгоревший дом, в котором жила модель художника, совсем незаметно, но постоянно, поворачивался вокруг своей оси.

* * *

Этот дом ей нашли мои родители. Он долго пустовал, старый владелец, буржуй-паралитик, пропал, на какое-то время в нем поселились цыгане, потом тут хранили заплесневевшее зерно, было видно в окна. Когда отец нашел незаинтересованного наследника, и когда, наконец, зашли в дом, оказалось, что он полностью отсырел, по углам росли тихие грибы. После пожара Девочка не хотела возвращаться в старую квартиру, не хотела ложиться в больницу, но деваться ей было некуда, и она осталась у нас, на целое лето. Из-за ее «аллергии» на детей, из-за полиции, которая ее «навешала», меня отправили к бабушке, поэтому

историю я знаю фрагментарно, в ней полно лакун и умолчаний.

Из-за какой-то семейной аферы (связанной с потемневшими кольцами) мать Марииного отца уже давно не разговаривала с сыном. Всегда эгоистичная и вспыльчивая, она переносила нетерпимость на внучку. После смерти мужа жила в чем-то вроде пирамиды, у входа на рыбный рынок. Во дворе собака вдовы бешено лаяла на диких голубей, на три четверти немецкая овчарка с серебристой шерстью. Ванная была в пристройке, и когда Мария туда на цыпочках пробиралась, собака вдруг начинала злобно лаять, а она стояла, прижавшись к стене. Бабушка выныривала из пестрых лент на двери, а девочка слышала, как легкая дверь с москитной сеткой липко чмокает (когда смыкаются слепые магниты).

Иди, не бойся, — командовала бабка, — он на цепи.

В большой ванной комнате, которая наполовину была складом кож (оставшихся после покойного кожевника), еще блестевших, когда сквозь открытую дверь их лизал солнечный язычок, гостя вымыла волосы средством для чистки ковров, найденным на краю ванны. Волосы встали дыбом (как от статического электричества), стали похожи на колючую проволоку. Мария боялась уснуть, уверенная, что проснется лысой. Но однажды зверюга выскользнула из кожаной петли (вроде собачьего Гудини), коварно подкараулила девицу с мокрыми волосами (закутанными в тюрбан из махрового полотенца) и, рыча, набросилась на нее. Счастье, что было полотенце, укрывавшее будущее очарование, и пока собака рвала влажную ткань, Мария успела с визгом добежать до двери. Волкодав поздно спохва-

тился, что щелкает зубами в пустоту, и, догнав жертву лишь на пороге, оцарапал ей пятку, вцепился зубами в потерянный тапок. Мария очнулась от выстрела. Из охотничьего ружья, долго дожидавшегося своего часа, старуха сразила пса, прямо в глаз. До конца каникул они этого не упоминали, бабка заплатила рыночному живодеру, чтобы тот закопал животное в саду. Мария бесстрашно залезала на старую черешню, откуда смотрела на город и подпевала «Серебряным крыльям»¹. На будущий год родился ее брат. Вскоре отец вернул ее домой, и она видела Девочку, как та плачет.

(Бабушка еще жива. Она в доме престарелых, недалеко от Штранда, и обрела покой. Раздумывает, не выйти ли замуж. Как-то прислала письмо с отпечатком своих губ в помаде).

В городе полно собак, я не знаю, к чему это. Ребенка нельзя выпустить на улицу. Ногой ступить нельзя, чтобы не влипнуть в собачье дерьмо.

Виноградник Йовановичей в Карловцах

Ого, вот и наш бенефициар, – Коста слышит, как немного в стороне раздается низкий голос. Ускоряет шаг, но тем самым как бы усиливает шум из тени. Он нерешителен: если остановится поприветствовать и тем самым прекратить крик, он потеряет из виду семинариста, пойдет ли своей дорогой, не оглядываясь, легко может случиться так, что он зашумит, а преследуемый уже оборачивается. Коста прячется за киоском, затаив дыхание, семинарист хлестнул взглядом по всей безо-

1 Популярная в 80–90 гг. поп-рок группа из Загреба.

бразной сцене, потом открыл дверь «Синего Ядрана», откуда послышался обычный трактирный гвалт.

Коста выдохнул, направился к пустым рыночным прилавкам, на которых сидели двое знакомцев из клуба литераторов, один – не может вспомнить, как зовут, а второй – Петко, директор будущего театра. Потягивают из бутылки, которую предлагают пришедшему. Он с отвращением делает глоток.

Посмотри на нас, – предостерегли его пьяницы, – посмотри на двух литературных поденщиков. А ты откуда приехал?

А, что? Из Карловцев... – пробормотал Коста. – А ты? – спросил он директора, который был с непокрытой головой.

Я пролетел. – отмахнулся тот.

Что так быстро? – задел его Коста., – Вот как это быстро случается. Он хотел спросить, что будет с драмой, с его деньгами, с ним самим, в конце концов, но пока машинально отпивал из бутылки, а ракия расплзалась мурашками по пищеводу; он понял, что это было бы то же самое, как ждать ответа от крестьянина, который приподнялся с прилавка (с лицом, на котором мешки оставили отпечаток-клеймо) и изумленно моргал, разбуженный в своей деревне.

Я тебя, как человека спрашиваю, что будет со старухой, с нашим домом, – напирал тот, второй, державшийся за руку Петко, которая его успокаивала, – надо разобраться раз и навсегда, что будет с нами.

А от меня вы чего хотите? – огрызнулся и Коста, – думаете, я все знаю?

Что станет с теми людьми, – смягчился крикун...

С какими людьми?

С теми несчастными. С виноградника.

Мы там были, – объяснял бывший директор, – втро-
ем, ты же знаешь, комиссия... Мария уехала раньше...

Я к этому не имею отношения, – отпирался Коста.

Ничего, ничего, – директор как бы на что-то намекал. – Но там беженцы. Дети. Появился и какой-то бывший владелец, который живет с цыганами в таборе... Представляешь, мы сначала наткнулись на могилу. Человек, лошадь? Разве что полицию не вызвали. Вокруг бегал их голозадый ребенок. Мы говорим – уберите ребенка. Там, во Дворцовом саду, такого изнасиловали, убили. Знаем, отмахиваются, но и ребенок стал крепче от такой ситуации. Успокойте же собак, говорим. А они – да они не опасные. А собаки дикие, целая стая. Не бойтесь, они спят с нами, – показывают на дома. Заходим. Что тебе сказать, дома, ну, как-то можно перебраться. Есть ли блохи? Нет, только комары. Тучами, заразы, налетают с Дуная, а мы жжем костры, прячемся в дыму.

Видим дверь в подвал, взломанную. Есть ли вино, интересуемся, показываем пальцем. Ай, старое вино, хи-хи. Унесли, выпили... А вон ракия. Знаешь ли ты, друг, ее язык?

А что это за картины? – вежливо так спрашиваем. Там целая куча. Ребенок притащил, из того подвала. А они чего-то стоят? – спрашивают. Мы думаем, ничего. Переглядываемся. Просто упражнения, точно. Поворачиваю одну, написано *Рассказы о слабости*. Так

говорит и наш господин, по слухам, знатный господин, Георгий, тут живет, ноги у него высохшие, златоуст ... Часы его золотые мы давно продали, хи-хи.

Если бы они чего-нибудь стоили, разве бы их тут так оставили, все слегка сомневаемся. Посмотри, какие некрасивые, цвета-то какие, страшные, господи помилуй, так мог бы и этот ребенок. Подождите, мы на жизнь мусором зарабатываем, разное ценное находим. –Мы, например, – улыбаемся заговорщицки.

В комнату заходит старик, сразу видно – господин. Называет какое-то имя. Это они, – шепчут, наши, так сказать, хозяева. – Ах, литераторы, – говорит старик, – дорогие коллеги, что нового в литературе? Спрашивает на полном серьезе, мы давимся от смеха.

Он подождал, пока мы отсмеемся, и спокойно заметил: я вижу, вы трогали картины Богдана. Чьи картины? – спрашиваем. Он их молча складывает. – Чьи картины? – Он что-то пробормотал, себе под нос, о свинных сердцах, или нам показалось. Надменный старец начинает здорово действовать нам на нервы.

Как звали того художника-самоучку, который прикончил малышку Еву, – спрашивает. – Фекете, – говорю я, – Фекете Ласло, нет, не он. И это рука убийцы, только посмотри, – говорит старик, не меняя выражения лица. Мы решаем его игнорировать.

А откуда же вы, братцы, – спрашиваем. – Эх, откуда... Беженцы мы.

Беженцы, беженцы, – соглашаемся мы, а что тут скажешь?

* * *

Слушайте, – говорит Джордже Яйчинац, вдруг выпрямившись, – я знаю. В ту войну я ничего не делал. Я не заметил никакой разницы, с места не сдвинулся ни один листик, ни одна пробка, ни один колосок или тень. Я пребывал в состоянии полной неподвижности, словно ржавел. Я только просыпался без причины, почувствовав свое сердце. Но не как истрепанную метонимию жизни, а как зловещее набухание. Я лежал в темноте, укрывшись обесценивающей все сердечной инфляцией. У меня не было сил ни на что, и со стороны это было похоже на хладнокровие. Не бойтесь, – говорил я своей матери и протягивал ей бескровную руку. И она не зажмурилась.

В другой раз, опять, у меня в голове был единственный вопрос, который я повторял вполголоса, бормоча, как аутист – «когда я попаду домой, когда я попаду домой» (словно сраженный неведомой слабостью, возвращаясь из плена, из швабской глуши, на едва ползущем поезде), а все это время сидел на новисадской улице Патриарха Чарноевича, трагического сербского аргоншта, в доме, который мог бы назвать почти родным. Вот столько о будущем, заключил я.

Произнеся эту речь, которую все, находящиеся в помещении, выслушали молча, с раскрытыми ртами, словно дикари, онемевшие от артикулированных слов молитвы какого-то Робинзона, старик вышел в сумерки, сопровождаемый собачьим поскуливанием.

Чего он нам наговорил, – произнес беженец, после некоторой паузы, – а то мы не знаем. Угу, сначала повышенный аппетит и чуть больше тех снов, с жен-

щинами, но вскоре, как обычно, ко всему привыкает живое существо.

Но когда он это говорил, то хлопал себя ладонями. Как и другие. Сгущались тени, самое время откуда-то прилететь комарам, целые тучи комаров, и начали всех кусать. Грозная природа разинула бескрайние челюсти.

Дай ту бумагу, разожжем костерок, крикнул человек. Ребенок схватил рисунок из кучи и подбежал. Прежде чем смять его и поджечь, внизу прочитал название.
Натюрморт с часами.

Сцены из жизни
Богдана Шупута (IX)

Дунайская

– комбинированная техника –

Эта картина производит впечатление копии. Мотив тот же: оголенные тополя. Палитра аскетичная, ослабленная. У меня всегда было тонкое чувство снега, считает Богдан, с едва приметной гордостью. Говорят, что сейчас перед глазами должна пронестись вся жизнь, как в грохочущей исповеди, – ожидает он. Однако он озабочен: возможно ли, что они лгали, разве я исключение? Или, может быть, я не умру? Оглядывается вокруг. Дунай незаметно прячется за Офицерским пляжем. Он вспоминает слова друга, что в этом месте есть что-то невидимое, что уводит взгляд вдаль, к краю горизонта, где сливаются небо и земля. И, правда, думает Богдан почти весело, тронутый этим воспоминанием, похоже, и правда, сливаются!

Еще мальчиком, в Сисаке, писая в снег, загораживая замерзшей ладошкой язычок пламени своего пола, он часто пытался написать струей мочи свое имя. Но струя быстро иссякала, мочевого пузыря у него тогда был, наверное, размером с кровавую вишневую косточку. Ему удавалось этой стремительной коррозией написать только первые три буквы, которые тонули, клубясь: БОГ...

Мои работы, подписанные «Шупут», объяснял он намного позже, я не считаю живописью, я ими недо-

волен, а вот подписанные «Богдан Шунут» – это все, что можно было сделать!

Богдан опять осмотрелся. Почувствовал в горле ком отвращения. Разочарованно подумал: разве я ради этого вида спешил из Германии?

Посмертная маска

Пал Б. сидит за столом, на Караджорджевой улице, он раздраженный, нервный, отталкивает от себя детей, жене упрекает какими-то слухами об ее изменах, когда он был в плену, а все потому что, он знает, потому что не сообщил никому (хотя бы несчастному Шунуту) об облаве, про которую слышал. Он вздрагивает от лая собак и голосов во дворе, накидывает куртку, жена останавливает его, хватая за руки, куртка падает на пол (как в эротической спешке), они смотрят на эту, лежащую на полу куртку, жена становится на нее, шипит: *никуда ты не пойдешь, это не наше дело, мы ни в чем не виноваты, что мы можем поделать, jőjj vissza¹*, Пали, но он оттолкнул ее от себя, не глядя, вышел, в ледяных сумерках увидел униформу солдата, который навел винтовку на господинчика с красивыми волосами и выгоняет его на улицу.

Павле подбегает, хватая солдата за бицепс (тот пытается вырваться): *Úristen. a lelked hova jut²*, видит на шее солдата цепочку с крестом, разве не стыдишься ты креста? Но у нас приказ, все те... *Hát ez a szomszéd bolond³*, посмотри на это безумное лицо,

1 Вернись (венг.).

2 Боже мой, куда попадет твоя душа (венг.).

3 Этот сосед – сумасшедший (венг.).

он такой всю жизнь, это божьи люди, знаешь ли ты, какой это грех?

Он приближается к лицу солдата, смотрит ему в глаза, чувствует запах палинки и только что удаленного зуба, который (это только мученик знает) убивал его по ночам, как кошмар, словно пил свежую кровь. Солдата охватывает слабость, у него от всего болит голова, лучше бы он делал что-то другое, что ему говорит этот безумный человек, тошноту ему, он чувствует ужас, идущий от земли, какое-то давление с неба, вырывается из рук Пала, бежит, что-то шепчет, поворачивается и скрипучим шагом направляется к воротам.

В том молодом человеке женищина, которая смотрит в окно, давно узнала Мило Йовановича, покровителя натурщиц для художников, этого милого Гермеса (он приносил ей новости о муже), у которого такая тонкая кожа, что просвечивают вены, она хорошо это помнит, закрывает лицо руками, собака не перестает лаять на своем собачьем языке так, что хочется ее задушить и бросить в замерзающую реку, как месячного щенка.

*Бежим, пока он не вернулся, – кричит Палу жена из дверей, с сонными детьми на руках, и он молча подчиняется, подкаблучник. Солдат действительно возвращается, решительно пересекает двор, застает дом опустевшим, *eregy a pokolba*¹, ругается, уходя, стреляет в обезумевшую собаку, собака падает, и ее длинный красный язык растекается по снегу, слишком долго.*

1 Провалитесь вы пропадом (венг.).

В это время Йовановичи сидят, съезжившись от холода, в подвале у Захарие, в доме рядом с пожарной частью, спрятавшись за кучкой угля (добытого, не спрашивайте, как), прислушиваются к звукам, доносящимся из окна на уровне тротуара, к голосам, к шагам, беспокоятся о Мило, Девочка прижимает к груди свой дневник, слышны сапоги, затихают, они не знают, что это гневно печатает шаг тот солдат, который повернул с Караджорджевой улицы, намереваясь короткой дорогой выйти к Дунаю.

Как я мог быть таким мягким, будь я проклят, — терзается солдат, меня кто-нибудь мог увидеть и донести на меня, егуе тег а фене¹, а они же просто смутьяны и коммуняки, и чужаки на прекрасной земле нашей Бачкой. Ничего другого они не заслуживают...

И вот он уже на Дунайской улице, оттуда дует ледяной ветер, он проходит мимо пятиэтажных домов, мимо тополей, яблонь, чего-то еще. Здесь все чисто, — говорит его напарник, спускаясь по ступеням, с сигаретой, висящей на губах обледеневшим слюнявым столбом.

Подождите, — зовет какая-то старуха из окна, — наверху есть еще.

Брось, я все проверил, — говорит ему тот, с сигаретой, Антал из Байи.

Нет, нет, — кричит солдат, взбегают по лестнице вверх, вытаскивает Шупутов из квартиры, Богдана, тетку, Эвицу, — я только возьму пальто, говорит Богдан, но гонвед толкает его вниз по ступенькам, не

1 Это же сущий ад (венг.).

понимает его, а если бы понимал, то, наверное, посмеялся бы, скоро всем им будет жарко, в аду, в раю, кому как, на дне, на дне.

De Profundis

Тела убитых надолго останутся в ледяном саркофаге, до весны.

Девочка годами будет видеть один и тот же сон, как она сторожит виноградник, разговаривает сама с собой, видит себя, как переходит железную дорогу, доходит до Дуная, и в камышах находит тело, которое до Карловцев донесло течением реки, ее Богдана, с выводком водяных крыс в волосах, с глазами, в которых плавают рыбы. Она думает, что поцелует его.

И ее всегда будит свист: приближающегося поезда или ее сиплых легких курильщицы?

Черепа

Да, то, что ты видишь, это царапины, – кричит Коста Крстич на пьяных людей, и сам в порыве безумия. – Ты это видел и в Карловцах, но ты молчал, только теперь тебе алкоголь развязал язык. Я тебя спрашивал про кладбище, как будто сам не мог найти в пшенице труп. Не понимаете, господа? Ну, вы так и выглядите. Оскорбляю? А вы еще и злитесь! Почему, спасители? Но что будет с объектами вашего спасения, когда вы, наконец, отберете у старухи имение? И откуда у вас право сочувствовать? Посмотрите на себя. А они куда, когда вы устроите ваш дом творчества на мусорной свалке? Они будут сторожить ядовитые виноградники, станут вашими личными мусорщиками, или бесплатными натурщиками для художников?..

По пустынному рыбному рынку разносилось эхо его голоса. Собеседники Косты, оступившие и в большей степени заторможенные, чем напуганные его громкой речью, больше молчали, раскрывали рты без воли к сопротивлению. Но странная проповедь Косты собрала нескольких проснувшихся крестьян, которые ночью стерегли товар, дожидались оптовика или бездельника, и молодой человек вдруг понял, что его история растет, выбивается из рамок, несет его. И чтобы

преодолеть внезапное сердцебиение, он еще больше повышает голос.

Но как он мог помочь и той горстке любопытствующих, если рыбные лавки были заперты, а аквариумы – пустые и сухие? Как любой его жест превращался в собственную пародию? Как он мог подумать, что спасет отца и мальчика от унижения, что возьмет возмездие в свои руки, выслеживая бесстыжего семинариста по рыночным кабакам («Ковиль», «Синий Ядран»), как он мог надеяться, что это закончится, если он подкараулит разбойника? Вот он выходит на неверных ногах и бредет к Дунаю, по дороге из желтого кирпича, мимо валютчиков и носильщиков с трехколесными тележками, подождет, пока тот не войдет в грязный скверик между городской тюрьмой и музеем революции, и, раскоряченный, не начнет мочиться на гусеницы старого танка, по которому днем лазают дети (ожидая, что он вздрогнет и вырвется из ржавчины), мочиться под лунным светом, с поднятой головой, оскалившись, и тут Коста увидит, как четко вырисовывается на шее толстая артерия, которую спасителю надо как-то перекусить, как бесконечную фразу сумасшедшего, а потом убежать по Дунайской улице, рядом с тополиной аллеей, к реке, и там отмыть пальцы от крови и краски? Но как он может сделать хоть что-нибудь: стартовым пистолетом, пальцем, упертым в ребра, разозлить его еще больше и из его руки слизнуть свою собственную пыльную тень? Но как ему перейти дорогу, если страх его парализует, когда и ему самому нужна твердая рука, которая за уши вытащит его из черного цилиндра, из кипящего котла, из замочной скважины? Но как, если

он сам натерпелся в автобусе от женской руки (на ней часы, которые можно легко унести в смерть), а страницы трагедии Яйчинаца рассыпаются по полу, летят, как бумажные самолетики, словно в пустом водевиле? Но разве возможно, чтобы из непристойного графита, из похабного клейма, выросла фреска?

И оратора охватило чувство стыда.

Девочка в саду

Вам надо прятать от нее спички, – говорит человек в униформе, Девочка слышит предупреждение из открытого окна, сквозь сон думает: дети. Вот почему не надо иметь детей.

Открывает глаза, просыпается в незнакомом помещении. Комната маленькая, детская. Ложечки, тарелочки, зеркала – как в сказке. Видит и садового гнома, как он ползает у ног кровати, к которой она привязана липкой слабостью, он снимает с головы красную шапку или бросает ей под ноги пламя? Девочка пытается собраться, защититься от огня, гном вытаскивает странный член и с улыбкой гасит пожар. Женщина с облегчением вздыхает. Она бы с удовольствием закурила, во рту сухость, губы опухли от болячек, ее простыни и наволочки в дырках от искр, которые летят, когда она, читая, засыпает.

Посмотри-ка, я ли это, – спрашивает она себя равнодушно, здесь не скачет ее деревянная лошадка, не качается колыбелька для кукол, ветер не переворачивает беспорядочно обгоревшие страницы ее тетради воспоминаний, не безумствует в клетке ее птичка, не обжи-

гает ладошку золотой ключик от девичьего дневника, нет на стене пейзажа, написанного Богданом, пейзаж не спешит ей навстречу, и из его глубины не доносятся звуки...Нет, это не ее комната.

Но все-таки, это комната ребенка, здесь все углы, в которых дети прячут страх, с постера ее сверлят глаза разряженного поп-певца, циркуль, вонзившийся в стол до дужки, далеко отбрасывает стройную тень... – Что это, не впала ли я в детство? – Что-то не дает Девочке покоя. – Или это Бог послал ей краткое озарение (или несчастье), чтобы она была в силах осознать свою сенильность (которой долго учатся)? – В тревоге женщина приподнимается на локтях. Вскрикивает, падает на спину, смотрит на руки в повязках, и тогда, действительно, почти просыпается.

Она почти все время под седативами. Как наши границы растяжимы! Какое тяжелое заточение – быть опутанным паутиной! Долго, очень долго она в лихорадке. Ей кажется, что она лежит в пустыне, все время стоит вечная жара, и картины голого пейзажа чередуются – то тонкие, то грубые. Иногда она слышит голоса, но они ее больше не тревожат. («Если бы человек мог перемещаться со скоростью быстрее света, то мог бы, глядя в сказочный телескоп, наблюдать с Луны свой земной уход...») Это по радио рассказывают?) Она не знает, это слышно из окна или из-за понурых дюн. Она погружается в фата-моргану звуков. Где теперь эти дети со спичками? Когда вечный город, Рим, пылал...

Если она не перепишет виноградник на моего сына, что это, я спрашиваю, за любовь? Вы думаете, что я отказался бы завещать ей какой-нибудь орган? Хорошо,

я буду тише... – Больше Девочка не может расслышать. Солнце доходит до ее закрытых глаз. Сейчас ей так приятно, словно она наслаждается рекламой мыла.

Нет, я не хочу ее видеть, *sehogy*¹, – клянется Пал, – я пришел забрать кое-какие мелочи... Почему не могу, они ничего не стоят. Ладно, ухожу, но так ей было бы легче, сударь, – ничего больше не иметь, и думать, что все это ей только снилось...

Как жарко, – вздыхает Девочка. Она лежит в винограднике, далеко от дома, прижимаясь ухом к раскаленным рельсам. Летний зной превращается в месиво звуков. Получится ли по вибрации распознать набравший скорость локомотив (который всегда приходит, словно из сна), не смешается ли она с шумом крови в ушах, с писком пьяных от крови насекомых, с легким дуновением ветерка, который доносит крики купальщиков с реки?..

Какая я горячая, – говорит Девочка с янтарной слезой во рту. – Если бы сейчас Богдану вздумалось выйти из воды и влажному, запыхавшемуся лечь рядом со мной, думаю, что я сошла бы с ума от счастья.

* * *

И чем дольше я один брожу по нашему дому, обходя высаженную дверь так называемых таинственных покоев, то все больше уверен в том, что идея Марии о каких-то сокровищах в виде неизвестных картин – крайне дурацкая.

Ее нет, с тех пор, как я ей это сказал. Наверное, опять играет в лотерею, таскается за серафимами.

1 Вовсе нет (венг.).

Иногда вижу ее из мансардного окна, закупоренного другой газетой. Она головы не поднимает. Мне все равно. Я люблю по расчету. Стыжусь.

Виджу ее отца и брата. Словно ничего не случилось, словно я ничего не видел. Не хотел. Однажды сверху увидел свою мать, как она бредет с пустого рынка. Промолвил – мама. Она меня не слышала. Пока я раскупоривал окно, она уже ушла. Хотел сбегать вниз, но что-то меня царапнуло. Как так может быть, что она меня не видит? Почему, несмотря ни на что, она такая обычная? У меня навернулись слезы.

И так живу, питаюсь крошками. Жду Девочку, или хотя бы известия о ней. Иногда бываю на кладбище, в поисках саморастущих растений.

Дела, прямо скажем, идут неважно. Но я и не бегу им навстречу, после того инцидента. Ну, когда я отправился в Карловцы, неся драму на читку.

Известно, что мимо меня протиснулась женщина. Я любезно ее поприветствовал, а она рявкнула: вор! Выдрала мне волосы, оцарапала. Об этом мне нечего сказать.

Правда ли, что некий таможенник, Ласло Фекете, художник-самоучка, выставял свои полотна в Дворцовом парке? Да. Проходила ли там десятилетняя девочка, племянница того больного? И с этим мы согласны. Остановилась ли она рядом с полотнами, на которых были запечатлены карловацкие пейзажи, разговаривала ли с человеком, который предложил ее нарисовать, изнасиловал и убил в кустах, например, боярышника? Никто не может это оспорить. Был ли маньяк приговорен к смерти? Да, все читали. Обрати-

лась ли ко мне по объявлению скорбящая семья, чтобы я написал малышке Еве стихи, «которые публикуют в газетах и высекают на памятниках»? Это я вам гарантирую. Напала ли на меня тетка покойной с обвинениями, что я подсунул им чужие стихи, причем поэта той же национальности, что и убийца? На это мне и вовсе нечего сказать. Свидетелей – полный автобус.

Можно ли что-то процитировать и объявить своим, если чувства автора и читателя абсолютно совпадают? Имя преходяще? «Десятилетняя Ева» прекрасна? Да, да, да...

Kemény mell, vágy és iyga vér
Valakiért majd-majd kibomlik,
De esküszöm: e valaki
Majd énreám hasonit.¹

Если этого не случится, можете мне свободно расцарапать лицо.

* * *

Когда я взломал дверь комнаты, то не обнаружил там почти ничего. Обнаженность описывала сама себя. Если возможна обнаженная натура комнаты, то это была она. Окно было в оковах. Некоторые мелочи (трубка в форме слоновьей головы, остановившиеся

1 Фрагмент из стихотворения венгерского поэта Эндре Ади (1877–1919) «Десятилетняя Ева» (1909):
Грудь упруга, и кровь горяча,
Время настанет – они всколыхнутся
Ради кого-то, но я заклинаю –
Пусть он будет похож на меня. (Перевод Е. Сагалович).

карманные часы) лежали на спинке кресла, сидение которого провалилось, как гнездо. Старая амбулаторная карта затыкала мышиную нору. Разумеется, я был разочарован.

Я говорил, что там ничего нет, но какое счастье откопать раннехристианские катакомбы, и там обнаружить голый крест? По мере того, как глаза привыкали к темноте, заметил, что на стене не помутневшее зеркало, а натянутый холст, подготовленный для живописи, пустой. Я внезапно обернулся. У меня за спиной стоял кинопроектор, в который была направлена узкая пленка. Вот он, конец истории, сказал я и нажал на кнопку.

Появилась дрожащая картинка. Скоро мы увидим Дунай, набережную, крепость. На том месте, где из воды, как обелиски, высятся остатки моста Королевича Томислава (старая югославская армия разрушила его в 1941-м), стоит человек с вырезанного из газеты некролога, забранного в рамку, что-то показывает и говорит.

Но проектор старый, без звука. Мы можем только догадываться, о чем человек рассказывает. Если не умеем читать по губам. Но мы не умеем. Надо дождаться Девочку, она нам расскажет.

Запретный город

– *путеводитель* –

Надо же, я и кино! Тоже мне, нашел Гарри Купера... Где, говоришь, мне встать?.. Попадают в кадр река, Рибняк, небо? Начинать?

Это короткий фильм, своего рода путеводитель по моему запретному городу (а дальше у меня не хватает дыхания), называться будет «Сухая тряпка на дне моря»... Ладно, буду серьезным.

Там, у меня за спиной, когда-то был мост, *Королевича Томислава*, если не ошибаюсь. И что с ним теперь? Я оказался на нем, когда он рушился. Это самое необыкновенное событие в моей жизни. Мне даже не верится, что оно позади.

Война уже началась. Но многие еще в нее не верили, скорее, полагали, что это стихийное бедствие, которое налетит и улетит, поэтому надо просто сжать зубы, перетерпеть, все пройдет, как судорога. Были, конечно, и те, кто по разным предзнаменованиям (багряные, низкие облака, шестиногие телята, зимние грозы) давно предвидели кровавые и страшные раздоры. Себя бы я отнес скорее к легкомысленным, хотя и был солдатом. В то время меня мучила странная болезнь, что-то с дыханием, из-за пыли, мой командир думал, что это называется притворство или страх. И накануне событий,

мне так сдавило грудь, что дивизионный врач, доктор Йованович, редкой души человек (я чинил ему сапоги), отпустил меня домой, в отпуск, чтобы я пришел в себя. (Отпуск я продлю, когда начнется хаос, но меня вместе с другими возьмут в плен, угонят в Германию).

Я тогда навещал одну даму, она была со мной мила, она и подарила ту трубку, в виде слоновьей головы, я ее и по сей день покуриваю. Чувствительная женщина, вся, как струна, только верила в духов, в чудеса. Женщина как женщина, а если помянуть небеса – сходит с ума. Но это было убедительно, она этим очень прельщала, и однажды я спросил ее, знает ли она лекарство от моей болезни.

Она мне ответила, что знает, в плохой год будет мне хороший день, потому что случится солнечное затмение и принесет оно моровое поветрие, но и исцелит мою болезнь, это будет, как побочное явление общей беды. Только мне надо в определенный момент оказаться на каком-нибудь высоком месте, например, на пролете моста, и когда все начнется, глубоко дышать, повернувшись лицом к Солнцу, но не дольше нескольких секунд, иначе, не дай боже, я потеряю зрение.

Я на все верчу головой, а она меня уверяет, что и заход Солнца может вызвать беременность, и тому подобные чудеса, решил я ее послушать, вреда не будет. Подкрался к мосту на рассвете, влез (караульные заняты своими делами), сплел руки и ноги с металлической сеткой. Я расспрашивал разных людей, как будто речь идет о ком-то другом, все качали головами, крестились, господин Яйчинац, самый образованный из всех, кого я знаю, объяснял мне, что солнечное зат-

мение не происходит ни с того, ни с сего, это заранее известно, и пока ни о чем таком не слышно. Ясно, ясно, но я говорю: хлеба не просит.

И вот, в общем-то, ничего не случилось. Я не ожидал конца, но хотя бы чего-нибудь – да. Она мне шепотом сказала: задует сильный ветер, пыль понесется вихрем по призрачным улицам, звезды засияют среди бела дня, птицы спрячут головки под крылья, настенные часы заскрипят и откроются сами по себе, у чувствительных людей закружится голова, ноги подогнутся, только что родившиеся дети покажут свои крыла. И ничего этого не случилось. (Разве что у одного ангелочка пошла носом кровь, или мне это показалось).

Ужаса и кошмара, которых я ожидал, не случилось, но какая-то тяжесть была. Все-таки она была права, пробормотал я в изумлении, поднял глаза. Смотри-ка, солнышко темнеет! Я забыл про предупреждения, про осмотрительность, про то, что я испорчу глазные яблоки, эти символы греха, на который я еще насмотрюсь. Солдаты остановились, свистели. Они видели, как я сижу наверху, передергивали винтовочные затворы.

Лунный кариес вошел глубоко, я ждал, когда появится обещанное кольцо, совершенная симметрия, грозный обет, я смотрел, один, два, три... Я мог бы зажмурить один глаз, жить с пиратской повязкой, как Моше Даян, пять, шесть, семь, начали выпрыгивать светлячки, я мог их слышать...

И тогда грянули взрывы. И я кубарем скатился в мутную реку.

* * *

Что-что? Значит, заметно, что я вру. Говоришь, видно невооруженным глазом? Ладно, ладно. Но ведь звучало неплохо? Согласись.

Но все-таки, в тот день когда мост взлетел на воздух я здесь был. Стоял где-то здесь, ближе не пускали. А сейчас могу поклясться, что своими глазами видел, как рушится распятый мост, подстреленный на бегу, подобно прекрасному зверю с наскальных рисунков.

Путеводитель, продолжение

Думаю, что когда я был ребенком, то действительно любил свой город, может быть, немного отвлеченно и слепо, мне потребовалось много времени, чтобы понять: то, что я называю любовью, есть некая форма стыда.

Это был не тот ужасающий стыд и срам, от которого перехватывает дыхание и который переходит в чувство вины и угрызения совести, а какой-то мелкий, детский, который вызывает легкий прилив крови к голове, например, когда у тебя дырка в носке, или на белье попали брызги мочи, но этого никто не видит, и это чувство остается где-то под замком, как легкая опасность, наподобие боязни того, что во сне, в толпе людей, вдруг окажешься абсолютно голым. Или это чувство можно сравнить с неловкостью, когда на концерте камерной музыки, в момент лирического затишья, слышишь собственный кишечник. Но и это слишком. В основном, стыд в двусмысленности, в опасности, что почему-то ты окажешься одинок и осмеян.

Вся моя мука, тихое отвращение проявлялись в том, что ни в одном рассказе я не упоминал его название. Это было просто тайное место, что растет на теневой стороне, летучая мышь, не раздающая счастье. Город без свойств, призраков.

Только иногда он пробуждался от сна старой девы, когда Гавра убил двоих полицейских, или когда сумасшедшая почтальонша съела свой приплод (кровь замерзла в холодильнике, как в тривиальной истории бесчестья). О, почему только ужас – приемлемый знак жизни?

Ты следишь за моей мыслью? Мне всегда казалось, что я все испорчу, если громко произнесу название города и таким образом сделаю все до крайности банальным, все сведу на уровень анекдота, пустой бабской сплетни. Об этом я и размышляю, когда бреду сюда, как усталое животное, выпущенное из клетки. Пожалуйста, не вертись.

А это, это моя улица, я здесь живу. В этом безликом доме. Наверняка он не лишен некоторых пикантных деталей, но я, ей-богу, не могу припомнить ни одной. И все прежние соседи сумасшедшие, на какой-то свой, безотрадный манер. Когда-то вдоль тротуаров кривились крепкие акации. Потом их вырубili, и теперь нет ничего. Только тут и там столб, как стрелка солнечных часов, которые вкопал эксцентричный старик. Но с тех пор, как нет акаций, нет и прозрачных теней. Улица без тени, без лица, как бумажный вампир. Солнце встает и заходит. Просто так. Если кто-то вообще замечает. Былая слава.

Да, я ничего не вижу, и, может быть, это куриная слепота, вызванная домашней кухней. Когда у тебя

что-то всегда под рукой, оно входит в привычку. Теряет значение. Ты чужак и помнишь неожиданные мелочи. Когда ты показываешь мне косой скат крыши, нарядный козырек над номером дома или дерево, которое на что-то похоже, я недоверчиво тру глаза, никудашний я гид. Смотрю прямо перед собой. Боюсь ям и призраков израненных собак.

Я, в общем-то, плохо запоминаю имена и лица. Если меня кто-нибудь останавливает и спрашивает, как пройти на такую-то улицу, я обычно пожимаю плечами, оправдываясь, что и сам я не здешний. И тебе не стал бы рассказывать, если бы ты не шел за мной по пятам, как солнце. Да, на небо я смотрю. Но если попытаться вспомнить, то твое солнце я опишу так, как его в верхнем углу листа бумаги рисуют дети, половинку, с толстыми карандашными лучами, похожим на многоцелевой биплан из Ченя, из которого рассыпают комариновую отраву или листовки по поводу запоздавших народных торжеств.

Этой дорогой я прохожу всегда в одно и то же время. Если меня кто-то замечает, то по мне можно сверять часы. Скучающий профессор философии, который в сумерках выносит маленькую скамеечку к подворотне, где эхом разносятся граффити, действительно мог бы заметить: смотри-ка, новисадский будильник?! Или: вот, опять фланер с курантов в Петроварадинской крепости, которые показывают неправильное время, но видны с Луны!

Итак, я никуда отсюда не уезжал. Возможности были, но я остался, как старая дева, засиделся, мож-

но сказать и так. Полагаю, это действие домашнего магнетизма, слишком тяжелой городской гравитации.

А куда бы я поехал? Петербург, Буэнос-Айрес, Дублин существуют только в книгах. Правда, однажды я был в Сегедине, во времена первых дефицитов, поехал купить сыру и перченой колбасы. Но все это построено той же рукой, все эти центрально-европейские близнецы, словно я у себя в городе, но во сне, небольшие различия, их еще надо заметить, что непросто, как на сложных картинках из журналов с кроссвордами и ребусами, поэтому можно спокойно сказать, что тот отъезд не считается.

Но я люблю города. Я где-то храню фотографию Бразилиа, я сказал бы, что она меня опьяняет, если бы это не звучало странно, новый город посреди джунглей (в который еще долго забегали потерявшие ориентацию звери), фотография полна южного света, наверное, это полдень, на бесконечных проспектах ни души, и только в этом городском бездорожье, среди совершенного воплощения мечты архитектора, среди зданий из кинофильмов, прославляющих будущее, которое никогда не наступит, — только один, едва заметный случайный человек, и его тень, чуть длиннее, на длину грязного ногтя, как на пустом океанском пляже, которым завершается плоский мир.

Не бойся, мы никуда не едем. Только язык у меня опухает, как толстый путеводитель, пока ты стоишь и нюхаешь свои пальцы.

Вообще-то, лучше бы тебе ничего не показывать. Я же забываю, где что. Амнезия на нервной почве. Что

поделать, хозяин – никакой. Ты даже не получил имя. Если тебя спросят, где ты был, скажи – нигде. Не ошибешься.

Прибавь немного шаг, становится прохладно.

Тебе могу сказать. Я, правда, привязан, заколдован. Заморожен. Словно я житель осажденного города, тот, кто толкается, ходит от одной тени к другой, нервными пальцами, тайком, приклеивает жевательную резинку к внутренней поверхности письменного стола, втягивает голову в плечи, подумав о сюрреалистическом снайпере, залегшем за громоотводом и палящим по толпе, не глядя, как солнце.

Оттуда дует. Дунай глубокий и спокойный, как забвение. Зимы уже давно страдают одышкой, и на реке едва-едва схватывается хрупкая ледяная корочка. Только какая-нибудь пенопластовая глыба (словно обломок стихийных декораций) тонет в сумерках, словно белый, грязный тромб.

Когда-то лед сковывал реку, и крестьяне из Срема приезжали на больших санях, запряженных лошадьми с окровавленными мордами, по воде, как факиры и апостолы, с полученными в дар перстнями. Лед был очень прочный, нужны были долгие часы, чтобы разбить его ломом, и, например, под него затолкать человека, или вымыть руки, если по такому морозу так уж необходимо.

Нови-Сад, наши дни

КАТАЛОГ

(Где что)

- | | |
|--|--|
| 1. НАТЮРМОРТ С ЧАСАМИ (1934)
<i>линогравюра, 13,3 x 9,6</i> | 10. ЧЕЛОВЕК С БАКЕНБАРДАМИ
<i>тушь, 34 x 20,8</i> |
| 2. ДЕВОЧКА С СОБАКОЙ (1936)
<i>акварель, 56 x 36,5</i> | 11. ТАМОЖЕННАЯ УЛИЦА
В НОВИ-САДЕ (1937)
<i>холст, масло, 56 x 70,5</i> |
| 3. ДВОР (1939)
<i>холст, масло, 50 x 39</i> | 12. ВИД С БАНСТОЛА НА ДУНАЙ
(1938)
<i>холст, масло, 64,5 x 100</i> |
| 4. МУЖСКОЙ ПРОФИЛЬ (1934)
<i>уголь, 48 x 31,5</i> | 13. МУЗЫКАНТ ПЕРЕД
КИНОТЕАТРОМ (1934)
<i>линогравюра, 17,8 x 13</i> |
| 5. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ,
РЕКЛАМА КОСМЕТИКИ (1935)
<i>темпера, 32 x 21</i> | 14. СОКОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК (?)
<i>Неизвестно</i> |
| 6. CARTE BLANCHE (?)
<i>неизвестно</i> | 15. ОКНО (1938)
<i>холст, масло, 73 x 60</i> |
| 7. ГЛИНЯНЫЙ ГОРШОК И СТУПКА
(1940)
<i>холст, масло, 60 x 73,2</i> | 16. КАРЛОВАЦКИЕ
ВИНОГРАДНИКИ (1934)
<i>холст, масло, 41,5 x 31,5</i> |
| 8. ГАЕВА ИЛИ ДРУГАЯ УЛИЦА,
СИСАК (?)
<i>неизвестно</i> | 17. ВОЛОЧЕНИЕ БАРЖИ
<i>ксилография, 9 x 14,7</i> |
| 9. ФИГУРА СТОЯЩЕГО
ОБНАЖЕННОГО МУЖЧИНЫ
С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ (1935)
<i>уголь, крафтовая бумага,
151 x 55</i> | 18. ТРУБА КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
(1937)
<i>холст, масло, 33 x 24,5</i> |

19. МАЛЕНЬКИЕ ЦВЕТЫ (1941)

холст, масло, 33 x 24,5

20. АВТОПОРТРЕТЫ (1937, 1938)

*холст, масло, 70 x 56 (I) 31 x 23 (II)*21. СТОЯЩИЙ СВЯТОЙ,
КОПИЯ ФРЕСКИ*из монастыря Сопочани (1936)**картон, темпера, 47 x 30*22. ЛЕЖАЩАЯ ОБНАЖЕННАЯ
НАТУРЩИЦА (1937)*холст, масло, 70 x 90*

23. ДВОРЕЦ ВАГНЕРА (?)

*неизвестно*24. СУМЕРКИ В ПОРТУ НА ДУНАЕ
(1940)*картон, масло, 47,8 x 62,3*

25. НАБЕРЕЖНАЯ ДУНАЯ (?)

*неизвестно*26. УРОК. ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА
ПРИ ВЕЧЕРНЕМ ОСВЕЩЕНИИ
(1934)*линогравюра, 14,5 x 10*

27. ПАРИЖСКИЕ СЦЕНЫ (7)

*неизвестно*28. ЭТЮД К НЕИЗВЕСТНОЙ
КАРТИНЕ С БОСНИЙСКИМ
ПЕЙЗАЖЕМ*черная тушь, 34 x 20,8*29. НАТЮРМОРТ С РЫБАМИ
(1936)*акварель, 30 x 40*30. ЭТЮД К НЕИЗВЕСТНОЙ
КАРТИНЕ С БОСНИЙСКИМ
ПЕЙЗАЖЕМ (II)*черная тушь, 12 x 9*

31. GARAGE DE BATEAUX (1939)

*холст, масло, 60 x 93*32. НАТЮРМОРТ С ЧЕРЕПОМ
И УТКОЙ (1936)*акварель, 36,2 x 25,1*

33. ПРАВАЯ ЛАДОНЬ

уголь, 23,3 x 30

34. ЦИРК (1938)

*холст, масло, 66 x 55*35. МАСТЕРСКАЯ,
УЛИЦА ЛУИ БАРТУ, ПЯТЬ (7)*неизвестно*36. ИДИЛЛИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕКОРАЦИЯ
НА ДЬЯВОЛЬСКОЙ МЕЛЬНИЦЕ,
в Германии (1941)*крафтовая бумага, темпера
уничтожено во второй
мировой войне*37. САРАЕВО – ДЬЯВОЛЬСКАЯ
МЕЛЬНИЦА (?)*неизвестно*

38. ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
(1935)

*черная тушь, растушевка,
33,7 x 21*

39. ВИНОГРАДНИК
ЙОВАНОВИЧЕЙ В КАРЛОВЦАХ
(1937)

*холст, масло
картина сгорела в пожаре*

40. ДУНАЙСКАЯ (?)

неизвестно

41. ЧЕРЕПА (1939)

холст, масло, 64,1 x 94,2

42. ДЕВОЧКА В САДУ (1939)

бумага, масло, 46,5 x 35,5

43. ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД (?)

фильм

44. ПУТЕВОДИТЕЛЬ (?)

продолжение фильма

Л И Т Е Р А Т У Р А

Todor Manojlović: Izložba u Paviljonu „Cvijete Zuzorić“, Nova smena, br. 7, Beograd, 1938, 444—446

Boško Petrović: O Bogdanu Šuputu, Letopis Matice srpske, VI 1953, 451—456

Miodrag B. Protić: Melanholično osećanje sveta, Dnevnik, 1.10.1972.

Petar Ćurčić: Ponovno otkrivanje Bogdana Šuputa, Dnevnik, 10.10.1972.

Vera Jovanović: Slikar Bogdan Šuput, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad; 1984.

Портрет художника в истории

Проза Ласло Блашковича представляет собой выразительный голос в новейшей сербской литературе. В нескольких романах, опубликованных с середины 90-х годов, Блашкович продемонстрировал незаурядную языковую изобретательность и красочное воображение, обращаясь также к элементам наследия модернизма и сюрреализма в сербской литературе. В этом смысле поэтика Блашковича весьма любопытна, так как он в своей прозе сочетает опыт позднего модернизма с моделью постмодернизма, унаследованной от Данило Киша (1935–1989).

Ласло Блашкович начал литературную карьеру как поэт. Он интенсивно писал и публиковал стихи в восьмидесятые годы, тогда критика и распознала его как одного из лидеров новой волны в сербской поэзии. Поэзия Блашковича – пример современного выбора выразительных средств и тем – экзистенциальных с одной стороны, но и поэтического исследования литературной традиции, с другой. В этом смысле вклад Блашковича тем более значителен, поскольку его внимание направлено на периферийные области литературной традиции, которыми обычно пренебрегают, – той традиции, тематика и поэтика которой сформировались

в сербской литературе в двадцатые годы XX века. Блашкович – один из самых щедрых производителей смыслов в современной сербской поэзии. Три первых поэтических сборника (*Смотришь*, 1986, *Золотая эпоха*, 1987 и *Красные бригады*, 1989) были созданы под знаком преобразования сюрреалистических картин, но в них периодически улавливается то, что мы можем назвать сюрреалистической иронией. Этого поэта, тем не менее, мы лучше знаем по иронии, направленной на все: от литературы и традиции вплоть до реальности и доминирующих языковых механизмов. Этот тип исследования достигает своего максимального воплощения в сборнике *Жизни бросающих игральные кости* (1997).

В девяностые годы Ласло Блашкович посвящает себя написанию романов, наложивших мощный отпечаток на современную сербскую прозу. Он не отказывается от своего поэтического опыта, прежде всего, на уровне интерпретации языка, ассоциативной свободы и проникновенного воображения. В середине девяностых Блашкович публикует роман *Тёзка* (1994), в котором появляется необычный и тонкий прием преобразования поэтических картин в прозаический текст. Блашкович проявляет себя как автор, наделенный исключительным языковым чутьем, которому и то, что принадлежит истории, и то, что является частью внутреннего мира, и то, что свойственно серой и жестокой реальности удастся преобразовать в литературу, картины и эпизоды которой убедительно преодолевают мо-

мент публикации и продолжают жить самостоятельной жизнью.

Следующий роман Л. Блашковича, *Свадебный марш* (1997) представляет последние годы существования «второй Югославии», передавая историю ее краха через историю литературной жизни. В этом романе в качестве героев появляются персонажи с известными фамилиями (наиболее известный из них, например, Эмир Кустурица). Эти фамилии нам известны из литературного и культурного контекста, но также не вызывают сомнений их связи с социальным, политическим и идеологическим контекстом. Используя такие детали, Блашкович, разумеется, не описывает реальных персонажей, но использует прием метафоризации действительности, деликатного исследования и пересмотра новейшей истории и причин социального краха. Благодаря провидческому дару автора, силе иронии и литературному мастерству, роман *Свадебный марш*, становится одним из наиболее интересных свидетельств о последних годах и днях существования СФРЮ.

Во многом исключительный в плане поэтики и владения языковыми выразительными средствами, автор романов *Натюрморт с часами* (2000), *Ожерелье Мадонны* (2003)¹ и *Считалка* (2014) отличается и заметной способностью обращаться к разным темам, поэтому диапазон его романов колеблется от картин индивидуальных судеб до фрагментарной картины современного

1 На русском языке: М., Центр книги Рудомино, 2016.

хаотического мира, от героев с исторической и литературной идентичностью до личной и семейной мифологии, от панорам Нови-Сада, родного города писателя, где разворачиваются сюжеты некоторых его романов, до восторженных встреч с европейскими и американскими городами, как в романе *Посмертная маска* (2012).

Натюрморт с часами – это мастерски написанный роман о судьбе и творчестве художника Богдана Шупута, участника и свидетеля модернизма в сербском изобразительном искусстве. Полная ярких сцен, написанная блестящим языком, эта проза рассказывает о первой половине XX века и о девяностых годах, когда герой-рассказчик идет по следу картин художника и изучает его биографию.

Богдан Шупут родился в 1914 году, был убит в фашистской облаве в Нови-Саде в 1942-м, а поиск его картин и свидетельств о его жизни начинается в 1993 году, в эпоху социальной агонии в Сербии и на Балканах.

Таким образом, роман Л. Блашковича охватывает большой промежуток времени, включая трагические моменты в жизни общества, а также в необычной и оригинальной форме ставит вопросы о столкновении искусства и судьбы художника, изображения и модели, общества и истории, намерений индивида и необходимости процессов, в которых этот индивид оказался помимо своей воли.

Названный критикой «повествованием о тайном духе Нови-Сада» роман *Натюрморт с часами* – это

новисадский роман в лучшем смысле этого слова. Это роман, в котором автор исследует литературную и поэтическую идентичность города, тайные стороны его долгой истории, причины, по которым этот город для такого количества людей был так важен и привлекателен. Автор исследует «намоленные» места городской топографии, без которых дух Нови-Сада, дух хорошо узнаваемого паннонского и центрально-европейского города было бы невозможно себе представить. Нови-Сад в этом романе Ласло Блашковича получает одно из важнейших современных литературных воплощений.

Нови-Сад как литературная тема и как особый опыт центрально-европейского писателя не отпускает Блашковича и в романах, которые будут написаны позже. Особо хотелось бы выделить *Ожерелье Мадонны*, в котором исторические события, начиная со смерти Иосипа Броза Тито, включая падение Берлинской стены, до натовских бомбардировок Сербии в 1999 году и солнечного затмения в августе того же года, постоянно проходят проверку в столкновении с поп-культурными элементами современного мира и постмодернистским романом-повествованием, затем современный роман-хронику *Турнир горбунов* (2007), в котором автор практически день за днем фиксирует пульс и события в жизни конкретного города, а также плутовской роман *Посмертная маска* (2012), или историю, написанную потрясающим языком и с поэтической мощью в романе *Считалка*. И *Посмертная маска*, и *Считалка* демонстрируют широчайший тематический и культурно-географический диапазон. От Нови-Сада, как исходного

пункта, который постоянно покидает и в который неизменно возвращается герой *Посмертной маски*, путешествуя по Германии, Австрии, Словении, Греции или Америке, как современный пилигрим, в сценах и событиях, в опыте и открытиях пытаюсь распознать и пересказать самые возбуждающие искушения современного мира и собственной жизни. *Считалка* покрывает расстояния от Нови-Сада до Тихоокеанского побережья, от мелких повседневных неприятностей до вызовов истории.

Когда в финале романа *Натюрморт с часами* мы читаем монолог во славу города, то видим, как Блашкович из одного конкретного и узнаваемого городского топоса создает то, что в литературе самое трудное и самое важное – он создает впечатляющий литературный символ. Но читатель замечает, как этот город со своей историей и запоминающимися героями непосредственно касается его.

В этом романе автор решается на символизацию действительности и истории, при этом сам процесс символизации протекает преимущественно в зоне языкового эксперимента.

Роман Ласло Блашковича задает новую планку и тем самым заново осваивает языковой горизонт современного сербского романа. В этом романе мы встречаемся с богатым образным языком, это поэтическая проза, но, тем не менее, в его образном строе остается место для конкретного времени и пространства, где

творит художник и где он погибает, – и остается время и пространство, в котором рассказчик восстанавливает детали портрета художника в истории.

В самом начале романа есть эпизод, где его герой, намереваясь постучать в дверь дома, сворачивает газету в *информационную дубинку*. Писателя всегда легче узнать по детали, чем по общему описанию. Для писателей, подобных Ласло Блашковичу это справедливо вдвойне.

*Гойко Божович
Белград, декабрь 2019 г.*

Литературно-художественное издание 16+

Ласло

Блашковиц

Натюрморт с часами

Художественный редактор

Т. Н. Костерина

Оператор компьютерной верстки

Л. Г. Иванова

Оператор компьютерной верстки переплета

В. М. Драновский

Технолог

М. С. Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»

Николаямская ул., д. 1, Москва, Россия, 109240

Отдел реализации издательства: (495) 915-31-00

e-mail: rudomino@libfl.ru

<http://www.facebook.com/CentreBook>

ООО «Инфинитив»

Б. Левшинский пер., д. 8 А, стр. 1,

Москва, Россия, 119034

Технологическое сопровождение

и допечатная подготовка ООО «Бослен»

(499) 270-09-59, (495) 971-89-09

<http://www.boslen.ru>; e-mail: info@boslen.ru

Подписано в печать 27.12.2019

Формат 84×108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ № 13275

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «Ульяновский Дом печати»

Гончарова ул., д. 14, г. Ульяновск, Россия, 432980

